

100 великих романов

Генри ФИЛДИНГ

ИСТОРИЯ
ТОМА ДЖОНСА,
НАЙДЕНЬША

Том 1



100 великих романов

Генри Филдинг

**История Тома Джонса,
найденъша. Том 1 (книги 1-8)**

«ВЕЧЕ»

1749

УДК 821.111-3
ББК 84(4Вел)

Филдинг Г.

История Тома Джонса, найденыша. Том 1 (книги 1-8) /
Г. Филдинг — «ВЕЧЕ», 1749 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4484-3920-9

Роман-эпопея выдающегося английского писателя XVIII^овека Генри Филдинга (1707–1754) создан по классическому для того времени сюжету, призванному показать, что благородство рода — вовсе не гарантия душевного благородства, а низкое происхождение не значит, что человек способен лишь на низости. «История Тома Джонса» рассказывает о юноше-сироте, который воспитывается в семье аристократов и, несмотря на сомнительное происхождение, проявляет все качества истинного джентльмена: бескорыстие, честность и искренность. Как и положено в подобной истории, именно такие качества помогут главному герою обрести счастье, а все, кто стоял на пути, понесут справедливое наказание... Но не этот банальный сюжет сделал произведение Филдинга классикой английской литературы. «История Тома Джонса» — это реалистичная и местами забавная картина английского быта и нравов того времени.

УДК 821.111-3
ББК 84(4Вел)

ISBN 978-5-4484-3920-9

© Филдинг Г., 1749
© ВЕЧЕ, 1749

Содержание

Посвящение	6
Книга первая	9
Глава I	10
Глава II	12
Глава III	14
Глава IV	16
Глава V	18
Глава VI	19
Глава VII	22
Глава VIII	25
Глава IX	27
Глава X	29
Глава XI	32
Глава XII	35
Глава XIII	37
Книга вторая	39
Глава I	40
Глава II	42
Глава III	44
Глава IV	47
Глава V	50
Глава VI	53
Глава VII	57
Глава VIII	60
Глава IX	62
Книга третья	65
Глава I	66
Глава II	67
Глава III	71
Глава IV	73
Глава V	75
Глава VI	78
Глава VII	80
Глава VIII	81
Глава IX	83
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Генри Филдинг История Тома Джонса, найденъша (Том 1, книги 1–8)

© ООО «Издательство «Вече», 2023

* * *

Mores hominum multorum vidit
Видел нравы многих людей¹

¹ Эпиграф на титульном листе: «*Mores hominum multorum vidit*» («Видел нравы многих людей») заимствован Филдингом из «Поэтического искусства» Горация (ст. 141–142); в этих стихах Гораций дал вольный перевод вступительных стихов «Одиссеи» Гомера. (*Примеч. пер.*)

Посвящение

Достопочтенному Джорджу Литтлону², эсквайру
Лорду Уполномоченному Казначейства

Сэр! Несмотря на то что просьба моя предпослать этому посвящению ваше имя встречала у вас постоянный отказ, я все же буду настаивать на своем праве искать вашего покровительства для настоящего произведения.

Вам, сэр, история эта обязана своим возникновением. Ваше пожелание впервые заронило во мне мысль о подобном сочинении. С тех пор прошло уже столько лет, что вы, быть может, позабыли про это обстоятельство; но ваши пожелания для меня закон; оставленное ими впечатление никогда не изгладится в моей памяти.

Кроме того, сэр, без вашего содействия история эта никогда не была бы закончена. Пусть вас не удивляют мои слова. Я не собираюсь навлекать на вас подозрение, будто вы сочинитель романов. Я хочу сказать только, что несколько обязан вам своим существованием в течение значительной части времени, затраченного на работу, – другое обстоятельство, о котором вам, может быть, необходимо напомнить, если вы так забывчивы, относительно некоторых ваших поступков; поступки эти, надеюсь, я всегда буду помнить лучше, чем вы.

Наконец, вам обязан я тем, что история моя появляется в своем настоящем виде. Если это произведение, как некоторым угодно было заметить, содержит более яркий образ подлинно доброжелательной души, чем те, что встречаются в литературе, то у кого же из знающих вас, у кого из ваших близких знакомых могут возникнуть сомнения, откуда эта доброжелательность «писана». Свет, думаю, не польстит мне предположением, что я заимствовал ее у самого себя. Меня это не огорчает: кто же откажется признать, что два лица, послужившие мне образцом³, иными словами, два лучших и достойнейших человека на свете – мои близкие и преданные друзья? Я мог бы этим удовлетвориться, однако мое тщеславие хочет присоединить к ним третьего – превосходнейшего и благороднейшего не только по своему званию, но и по всем своим общественным и личным качествам. Но в эту минуту, когда из груди моей вырывается благодарность герцогу Бедфордскому⁴ за его княжеские милости, вы мне простите, если я вам напомню, что вы первый рекомендовали меня вниманию моего благодетеля.

Да и какие у вас могут быть возражения против того, чтоб оказать мне честь, которой я добивался? Ведь вы так горячо хвалили книгу, что без стыда прочтете ваше имя перед посвящением. В самом деле, сэр, если сама книга не заставляет вас краснеть за ваши похвалы, то вам не может, не должно быть стыдно за то, что я здесь пишу. Я вовсе не обязан отказываться от своего права на ваше заступничество и покровительство из-за того, что вы похвалили мою книгу, ибо хоть я и признаю множество сделанных вами мне одолжений, но похвалу эту не отношу к их числу; в ней дружба, я убежден, не играет почти никакой роли, потому что она

² *Литтлон Джордж* (1703–1773) – школьный товарищ Филдинга по Итонскому колледжу, происходил из богатой и влиятельной аристократической семьи, виг. Был одним из лидеров так называемой «сельской партии» (существовала с 1731 по 1842 г.) – объединения вигов и тори, выступавших против премьер-министра Роберта Вальполя. Литтлон покровительствовал литературе, сам писал стихи и исторические сочинения; материально помогал Филдингу. (*Примеч. пер.*)

³ *...два лица, послужившие мне образцом...* – Джордж Литтлон и Ральф Аллен. Ральф Аллен (1694–1764), которому Филдинг посвятил свой последний роман «Амелия», был, согласно признанию самого Филдинга, редким исключением в среде представителей английской крупной буржуазии XVIII века. Сын содержателя гостиницы в провинциальном городке, Аллен начал свою карьеру с должности мелкого почтового служащего в Бате и кончил жизнь миллионером. Наряду с Литтлоном Аллен послужил прототипом для сквайра Олверти. После смерти Филдинга Аллен оказывал материальную помощь семье писателя. (*Примеч. пер.*)

⁴ *Герцог Бедфордский* (Джон Рессел, 1710–1771) – влиятельный член той же группы, к которой принадлежал Литтлон. Вероятно, не без его содействия Филдинг в 1748 году был назначен мировым судьей; позднее писатель жил в его доме на Боу-стрит. (*Примеч. пер.*)

не может ни повлиять на ваше суждение, ни поколебать ваше беспристрастие. Враг в любое время добьется от вас похвалы, если он ее заслуживает, но друг, совершивший промах, может, самое большее, рассчитывать на ваше молчание или разве что на любезное снисхождение, если подвергнется слишком уж суровым нападкам.

Короче говоря, сэр, я подозреваю, что истинной причиной вашего отказа исполнить мою просьбу является нелюбовь к публичному восхвалению. Я заметил, что, подобно двум другим моим друзьям, вы с большой неохотой выслушиваете малейшее упоминание о ваших достоинствах; что, как говорит один великий поэт⁵ о подобных вам людях (он справедливо мог бы сказать это о всех троих), вы привыкли

Творить добро тайком, стыдясь огласки.

Если люди этого склада стыдятся похвал еще больше, чем другие порицаний, то сколь справедливо должно быть ваше опасение доверить перу моему ваше имя! Ведь как утрастился бы другой при нападении писателя, получившего от него столько оскорблений, сколько я получил от вас одолжений!

И разве страх порицания не возрастает соответственно размерам проступка, в котором мы сознаем себя виновными? Если, например, вся наша жизнь постоянно давала материал для сатиры, то как нам не трепетать, попавшись в руки раздраженного сатирика! Сколь же справедливым покажется, сэр, ваш страх передо мной, если применить все это к вашей скромности и вашему отвращению к панегирикам!

И все-таки вы должны были бы вознаградить мое честолюбие хотя бы потому, что я всегда предпочту угождение вашим желаниям потворству моим собственным. Ярким доказательством этого послужит настоящее обращение, в котором я решил следовать примеру всех пишущих посвящения и пишу не то, чего мой покровитель в действительности заслуживает, а то, что он прочтет с наибольшим удовольствием.

Поэтому без дальнейших предисловий преподношу вам труды нескольких лет моей жизни. Какие в них есть достоинства, вам уже известно. Если ваш благосклонный отзыв пробудил во мне некоторое уважение к ним, то этого нельзя приписать тщеславию: ведь я так же беспрекословно согласился бы с вашим мнением и в том случае, если бы оно было в пользу чьих-либо чужих произведений. Во всяком случае, могу сказать, что если бы я сознавал в моем произведении какой-либо существенный недостаток, то вы – последний, к кому я решился бы обратиться за покровительством для него.

Имя моего патрона, надеюсь, послужит каждому приступающему к этому произведению читателю порукой в том, что он не встретит на всем его протяжении ничего предосудительного в отношении религии и добродетели, ничего несовместимого со строжайшими правилами приличия, ничего такого, что могло бы оскорбить даже самые целомудренные взоры. Напротив, заявляю, что я искренне старался изобразить доброту и невинность в самом выгодном свете. Вам угодно думать, что эта честная цель мной достигнута; и, сказать правду, ее, скорее всего, можно достигнуть в книгах этого рода, ибо пример есть картина, на которой добродетель становится как бы предметом зрения и трогает нас идеей той красоты, которая, по утверждению Платона, заключена в ней в своей неприкрытой прелести.

Кроме раскрытия этой красоты ее на радость человечеству, я пытался привести в пользу добродетели довод более сильный, убеждая людей, что в их же собственных интересах стремиться к ней. С этой целью я показал, что никакие выгоды, достигнутые ценой преступления, не могут вознаградить потерю душевного мира – неизменного спутника невинности и добродетели – и ни в малейшей степени не способны уравновесить зло тревоги и ужаса, поселяемых

⁵ ...великий поэт... – Александр Поп (1688–1744), один из наиболее выдающихся представителей просветительского классицизма в английской литературе. Приведенный ниже стих заимствован из его «Эпилога к сатирам Горация» (ст. 135). (Примеч. пер.)

вместо них преступлением в наших сердцах. Я показал, что сами по себе эти выгоды обыкновенно ничего не стоят, а способы их достижения не только низменны и постыдны, но в лучшем случае ненадежны и всегда полны опасностей. Наконец, я всячески старался втолковать, что добродетель и невинность могут быть поставлены в опасное положение разве только опрометчивостью, которая одна лишь вовлекает их в ловушки, расставляемые обманом и подлостью, – назидание, над которым я трудился тем прилежнее, что усвоение его, скорее всего, может увенчаться успехом, так как, мне кажется, гораздо легче сделать добрых людей умными, чем дурных хорошими.

Для достижения этой цели я пустил в ход все остроумие и юмор, на какие я способен, насмешками стараясь отучить людей от их излюбленных безрассудств и пороков. Насколько я успел в этом благом начинании, предоставляю судить беспристрастному читателю, но обращаюсь к нему с двумя просьбами: во-первых, не искать в этом произведении совершенства и, во-вторых, отнестись снисходительно к некоторым частям его, если в них не окажется тех маленьких достоинств, каких, надеюсь, не лишены другие части.

Не буду больше задерживать вас, сэр. В самом деле, я сбился на предисловие, заявив, что буду писать посвящение. Но могло ли быть иначе? Я не осмеливаюсь восхвалять вас; и единственный известный мне способ избежать этого, когда я о вас думаю, – либо хранить полное молчание, либо направить свои мысли на другой предмет.

Простите же мне все сказанное в этом послании не только без вашего согласия, но прямо вопреки ему, и разрешите мне, по крайней мере, публично заявить, что я, с величайшим почтением и благодарностью остаюсь, – сэр,

глубоко вам обязанный,
покорнейший и нижайший слуга
Генри Филдинг

Книга первая

которая содержит о рождении найденъша столько сведений, сколько необходимо для первоначального знакомства с ним читателя

Глава I

Введение в роман, или Список блюд на пиршестве

Писатель должен смотреть на себя не как на барина, устраивающего званый обед или даровое угощение, а как на содержателя харчевни, где всякого потчуют за деньги. В первом случае хозяин, как известно, угощает чем ему угодно, и хотя бы стол был не особенно вкусен или даже совсем не по вкусу гостям, они не должны находить в нем недостатки: напротив, благовоспитанность требует от них на словах одобрять и хвалить все, что им ни подадут. Совсем иначе дело обстоит с содержателем харчевни. Посетители, платящие за еду, хотят непременно получить что-нибудь по своему вкусу, как бы они ни были избалованы и разборчивы; и если какое-нибудь блюдо им не понравится, они без стеснения воспользуются своим правом критиковать, бранить и посылать стряпню к черту.

И вот, чтобы избавить своих посетителей от столь неприятного разочарования, честные и благомыслящие хозяева ввели в употребление карту кушаний, которую каждый вошедший в заведение может немедленно прочесть и, ознакомившись, таким образом, с ожидающим его угощением, или остаться и ублажать себя тем, что для него приготовлено, или идти в другую столовую, более сообразную с его вкусами.

Так как мы не считаем зазорным позаимствоваться умом-разумом от всякого, кто способен поучить нас, то согласились последовать примеру этих честных кухмистеров и представить читателю не только общее меню всего вашего угощения, но также особые карты каждой перемены кушаний, которыми собираемся потчевать его в этом и следующих томах.

А заготовленная вами провизия является не чем иным, как *человеческой природой*. И я не думаю, чтобы рассудительный читатель, хотя бы и с самым избалованным вкусом, стал ворчать, придирааться или выражать недовольство тем, что я назвал только один предмет. Черепаха – как это известно из долгого опыта бристолюскому олдермену⁶, очень сведущему по части еды, – помимо отменных спинки и брюшка, содержит еще много разных съедобных частей; а просвещенный читатель не может не знать чудесного разнообразия человеческой природы, хотя она и обозначена здесь одним общим названием: скорее повар переберет все на свете сорта животной и растительной пищи, чем писатель исчерпает столь обширную тему.

Люди утонченные, боюсь, возразят, пожалуй, что это блюдо слишком простое и обыкновенное; ибо что же иное составляет предмет всех этих романов, повестей, пьес и поэм, которыми завалены прилавки? Много изысканных кушаний мог бы забраковать эпикуреец, объявляя их обыкновенными и заурядными на том только основании, что где-нибудь в глухом переулке под таким же названием разная дрянь. В действительности настоящую природу так же трудно найти у писателей, как байоннскую ветчину или болонскую колбасу в лавках.

Вся суть – будем держаться нашей метафоры – в писательской кухне, ибо, как говорит мистер Поп:

Остро сказать – наряд к лицу надеть,
Живую мысль в слова облечь уметь⁷.

⁶ Олдермен — член городского управления, рангом ниже мэра. (Примеч. пер.)

⁷ Остро сказать... – Цитата взята из стихотворного трактата Попа об искусстве поэзии, озаглавленного «Essay on Criticism» (ст. 297–298). (Примеч. пер.)

То самое животное, которое за одни части своего мяса удостоивается чести быть поданным к столу герцога, нередко подвергается унижению за другие части, и иные его куски болтаются на веревке в самой последней городской лавчонке. В чем же тогда разница между пищей барина и привратника, которые едят одного и того же быка или телянка, как не в приправе, приготовлении, гарнире и сервировке? Вот почему одно блюдо возбуждает и разжигает самый вялый аппетит, а другое отталкивает и притупляет самый острый и сильный.

Подобным же образом высокие достоинства умственного угощения зависят не столько от темы, сколько от искусства писателя выгодно подать ее. Как же будет порадован читатель, найдя, что в настоящем сочинении мы заботливо придерживались одного из первейших правил лучшего повара, какого только произвел нынешний век, а может быть, даже век Гелиогабала⁸! Этот великий человек, как хорошо известно всем любителям полакомиться, подает сначала, на голодный желудок, простые кушанья, а потом, когда, по его предположениям, аппетит слабеет, восходит до самых пикантных соусов и пряностей. Так и мы предложим сначала человеческую природу свежему аппетиту нашего читателя в том простом и безыскусственном виде, в каком она встречается в деревне, а потом начнем и приправим ее всякими тонкими французскими и итальянскими специями притворства и пороков, которые изготавливаются при дворах и в городах. Мы не сомневаемся, что такими средствами можно поселить в читателе желание читать до бесконечности, вроде того как только что названный великий человек вызывал в иных людях охоту без конца поглощать еду.

Предпослав эти замечания, мы не будем больше томить голодом читателей, которым наше меню пришлось по вкусу, и немедленно угостим их первым блюдом нашей истории.

⁸ *Гелиогабал* — римский император (род. в 204 г., убит в 222 г. н. э.), был известен своим распутством. Вся первая глава книги представляет переработку письма, напечатанного 3 декабря 1745 года в газете «Истинный патриот», которая издавалась Филдингом. Указанное письмо подписано псевдонимом «Гелиогабал» и, очевидно, принадлежит перу самого Филдинга. Благодаря этому письму можно установить начало работы Филдинга над «Томом Джонсом». (*Примеч. пер.*)

Глава II

Краткое описание сквайра Олверти и более обстоятельные сведения о мисс Бриджет Олверти, его сестре

В той части западной половины нашего королевства, которая обыкновенно называется Сомерсетшир, жил недавно, а может быть, и теперь еще живет, дворянин по фамилии Олверти, которого с полным правом можно было назвать баловнем Природы и Фортуны, ибо они, казалось, состязались, как бы пощедрее одарить его и облагодетельствовать. Из этого состязания Природа, на взгляд иных, вышла победительницей, оделив его множеством даров, тогда как в распоряжении Фортуны был один только дар, но, награждая им, она проявила такую расточительность, что, пожалуй, этот единственный дар покажется иному стоящим больше всех разнообразных благ, отпущенных ему Природой. От последней ему достались приятная внешность, здоровое телосложение, ясный ум и доброжелательное сердце; Фортуна же сделала его наследником одного из обширнейших поместий в графстве.

В молодости дворянин этот был женат на весьма достойной и красивой женщине, которую любил без памяти; от нее он имел троих детей, но все они умерли в младенчестве. Ему выпало также несчастье лет за пять до начала нашей повести похоронить и свою любимую жену. Как ни велика была утрата, он перенес ее как человек умный и с характером, хотя, должно признаться, часто толковал насчет этого немножко странно; так, порой от него можно было услышать, что он по-прежнему считает себя женатым и думает, что жена лишь немного опередила его в путешествии, которое и ему неизбежно придется, раньше или позже, совершить вслед за ней, и что он нисколько не сомневается встретиться с ней снова там, где уж никогда больше с ней не разлучится, – суждения, за которые одни из соседей отвергали в нем здравый смысл, другие – религиозные чувства, а третьи – искренность.

Теперь он жил большей частью в деревенской глуши, вместе с сестрой, которую нежно любил. Дама эта перешагнула уже за тридцать – возраст, в котором, по мнению злых, можно уже не чинясь называть себя старой девой. Она была из тех женщин, которых мы хвалим скорее за качество сердца, чем за красоту, а представительницы прекрасного пола называют обыкновенно порядочными женщинами: «Она, знаете, порядочная, во всех отношениях порядочная». И в самом деле, она так мало сожалела о недостатке красоты, что говорила об этом совершенстве, если красоту вообще можно назвать совершенством, не иначе как с презрением и часто благодарила Бога за то, что она не так красива, как мисс такая-то, которая, не будь у нее красоты, наверное, не натворила бы столько глупостей. Мисс Бриджет Олверти (как звали эту даму) весьма справедливо видела в обаятельной внешности женщины всего лишь ловушку и для нее самой, и для других, но несмотря на личную безопасность была все же крайне осмотрительна в своем поведении и до такой степени держалась настороже, словно ей были расставлены все ловушки, когда-либо угрожавшие прекрасному полу. Действительно, я заметил, хотя это и может показаться читателю несуразным, что такого рода благоразумная осмотрительность, подобно полицейским дозорам, исполняет свои обязанности тем ретивее, чем меньше опасность. Часто эта осмотрительность постыдно и трусливо покидает первых красавиц, по которым мужчины томятся, вздыхают, чахнут и которым они расстилают все сети, какие только в их власти, и ни на шаг не отходит от тех высшего разбора женщин, к которым сильный пол относится с самым глубоким и благоговейным почтением и которых (должно быть, отчаиваясь в успехе) никогда не решается атаковать. Читатель, прежде чем мы пойдем с тобой дальше, не мешая, мне кажется, предупредить тебя, что в продолжение этой повести я намерен при всяком удобном случае пускаться в отступления; и когда это делать – мне лучше знать, чем какому-либо жалкому критику. Вообще я покорнейше просил бы всех господ критиков зани-

маться своим делом и не соваться в дела или сочинения, которые их вовсе не касаются, ибо я не обращусь к их суду, пока они не представят доказательств своего права быть судьями.

Глава III

Странный случай, приключившийся с мистером Олверти по возвращении домой. Благопристойное поведение миссис Деборы Вилкинс с добавлением нескольких замечаний о незаконных детях

В предыдущей главе я сказал читателю, что мистер Олверти получил в наследство крупное состояние, что он имел доброе сердце и что у него не было детей. Многие, без сомнения, сделают отсюда вывод, что он жил, как подобает честному человеку; никому не был должен ни шиллинга, не брал того, что ему не принадлежало, имел открытый дом, радушно угощал соседей и благотворительствовал бедным, то есть тем, кто предпочитает работе попрошайничество, бросая им объедки со своего стола, построил богадельню и умер богачом.

Многое из этого он действительно сделал: но если бы он этим ограничился, то я предоставил бы ему самому увековечить свои заслуги на красивой мраморной доске, прибитой над входом в эту богадельню. Нет, предметом моей истории будут события гораздо более необыкновенные, иначе я только попусту потратил бы время на писание столь объемистого сочинения, и вы, мой рассудительный друг, могли бы с такой же пользой и удовольствием прогуляться по страницам книг, в шутку названных проказниками авторами *Историей Англии*.

Мистер Олверти целые три месяца провел в Лондоне по какому-то частному делу; не знаю, в чем оно состояло, но, очевидно, было важное, если так надолго задержало его вдали от дома, откуда в течение многих лет не отлучался даже на месяц. Он приехал домой поздно вечером и, наскоро поужинав с сестрой, ушел, очень усталый, в свою комнату. Там, простояв несколько минут на коленях – обычай, которого он не нарушал ни при каких обстоятельствах, – Олверти готовился уже лечь в постель, как вдруг, подняв одеяло, к крайнему своему изумлению, увидел на ней завернутого в грубое полотно ребенка, который крепко спал сладким сном. Несколько времени он стоял, пораженный этим зрелищем, но так как добрые чувства всегда брали в нем верх, то скоро проникся состраданием к лежавшему перед ним бедному малютке. Он позвонил и приказал немедленно разбудить и позвать пожилую служанку, а сам тем временем так залюбовался красотой невинности, которую всегда в живых красках являет зрелище спящего ребенка, что совсем позабыл о своем ночном туалете, когда в комнату вошла вызванная им матрона. А между тем она дала своему хозяину довольно времени для того, чтобы одеться, ибо из уважения к нему и ради приличия провела несколько минут перед зеркалом, приводя в порядок свою прическу, несмотря на то что лакей позвал ее с большой торопливостью и ее хозяин, может быть, умирал от удара или с ним случилось какое-нибудь другое несчастье.

Нет ничего удивительного, что женщину, столь требовательную к себе по части соблюдения приличий, шокирует малейшее несоблюдение их другими. Поэтому, едва только она отворила дверь и увидела своего хозяина стоявшим у постели со свечой в руке и в одной рубашке, как отскочила в величайшем испуге назад и, по всей вероятности, упала бы в обморок, если бы Олверти не вспомнил в эту минуту, что он не одет, и не положил конец ее ужасу, попросив ее подождать за дверью, пока он накинет какое-нибудь платье и не будет больше смущать непорочные взоры миссис Деборы Вилкинс, которая, хотя ей шел пятьдесят второй год, божилась, что отроду не видела мужчины без верхнего платья. Насмешники и циники станут, пожалуй, издеваться над ее испугом; но читатели более серьезные, приняв в соображение ночное время и то, что ее подняли с постели и она застала своего хозяина в таком виде, вполне оправдают и одобряют ее поведение, разве только их восхищение будет немного умерено мыслью, что Дебора уже достигла той поры жизни, когда благоразумие обыкновенно не покидает девицы.

Когда Дебора вернулась в комнату и услышала от хозяина о найденном ребенке, то была поражена еще больше, чем он, и не могла удержаться от восклицания, с выражением ужаса в голосе и во взгляде: «Батюшки, что ж теперь делать?»

Мистер Олверти ответил на это, что она должна позаботиться о ребенке, а утром он распорядится подыскать ему кормилицу.

– Слушаюсь, сударь! И я надеюсь, что ваша милость отдаст приказание арестовать шлюху-мать; это, наверно, какая-нибудь, что живет по соседству; то-то приятно будет поглядеть, как ее будут отправлять в исправительный дом и сечь на задке телеги⁹! Этих негодных тварей как ни наказывай, все будет мало! Побожусь, что у нее не первый. Экое бесстыдство: подкинуть его вашей милости!

– Подкинуть его мне, Дебора? – удивился Олверти. – Не могу допустить, чтобы у нее было такое намерение. Мне кажется, она избрала этот путь просто из желания обеспечить своего ребенка, и я очень рад, что несчастная не сделала чего-нибудь хуже.

– Чего уж хуже, – воскликнула Дебора, – если такие негодницы взваливают свой грех на честного человека! Известно, ваша милость тут ни при чем, но свет всегда готов судить, и не раз честному человеку случалось прослыть отцом чужих детей. Если ваша милость возьмет заботы о ребенке на себя, это может заронить подозрения. Да и с какой стати вашей милости заботиться о младенце, которого обязан взять на свое попечение приход? Что до меня, то, будь еще это честно прижитое дитя, так куда ни шло, а к таким пашенкам, верьте слову, мне прикоснуться противно, я за людей их не считаю. Фу, как воняет! И запах-то у него нехристианский! Если смею подать совет, то положила бы я его в корзину, унесла бы отсюда и оставила бы у дверей церковного старосты. Ночь хорошая, только ветрено немного и дождь идет; но если его закутать хорошенько да положить в теплую корзину, то два против одного, что проживет до утра, когда его найдут. Ну а не проживет, мы все-таки долг свой исполнили, позаботились о младенце... Да таким созданиям и лучше умереть невинными, чем расти и идти по стопам матерей, ведь от них ничего хорошего и ожидать нельзя.

Кое-какие выражения этой речи, по всей вероятности, вызвали бы неудовольствие у мистера Олверти, если бы он слушал Дебору внимательно, но он вложил в это время палец в ручку малютки, и нежное пожатие, как бы молившее его о помощи, было для него несравненно убедительнее красноречия Деборы, если бы даже она говорила в десять раз красноречивее. Он решительно приказал Деборе взять ребенка к себе на постель и распорядиться, чтобы кто-нибудь из служанок приготовил ему кашку и все прочее, на случай если он проснется. Он велел также, чтобы рано утром для ребенка достали белье поопрятнее и принесли малютку к нему, как только он встанет.

Миссис Вилкинс была так понятлива и относилась с таким уважением к своему хозяину, в доме которого занимала превосходное место, что после его решительных приказаний все ее сомнения мгновенно рассеялись. Она взяла ребенка на руки без всякого видимого отвращения к незаконности его появления на свет и, назвав его премиленьким крошкой, ушла с ним в свою комнату.

А Олверти погрузился в тот сладкий сон, каким способно наслаждаться жаждущее добра сердце, когда оно испытало полное удовлетворение. Такой сон, наверно, приятнее снов, которые бывают после сытного ужина, и я постарался бы расписать его моему читателю обстоятельнее, если бы только знал, какой воздух ему посоветовать для возбуждения названной жажды.

⁹ ...на задке телеги! – Со времен Средневековья и до конца XVIII века приговоренных к наказанию преступников привязывали к задку телеги и секли всю дорогу, пока телега объезжала вокруг городской стены. (Примеч. пер.)

Глава IV

Шее читателя угрожает опасность от головокружительного описания. Он благополучно ее минует. Великая снисходительность мисс Бриджет Олверти

Готический архитектурный стиль не создавал ничего благороднее, чем дом мистера Олверти. Своим величественным видом он внушал зрителю уважение и мог потягаться с лучшими образцами греческой архитектуры. Внутренние его удобства не уступали солидной внешности.

Он стоял на юго-восточном склоне холма, ближе к подошве, чем к вершине, так что укрыт был с северо-востока рощей старых дубов, некруто поднимавшейся над ним на полмили, и все же достаточно высоко, чтобы любоваться восхитительным видом на отрывавшуюся внизу долину.

От середины рощи к дому спускалась красивая лужайка, у вершины которой, из скалы, покрытой елями, бил роскошный ключ, образуя вечный каскад футов в тридцать вышиной, падавший не по правильным уступам, но по беспорядочно раскиданным природой обломкам замшелых камней; достигнув таким образом подножия скалы, он уже с гораздо меньшей прытью змеился далее по кремнистому руслу и у подошвы холма, в четверти мили к югу от дома, впадал в озеро, которое было видно из всех комнат, расположенных по фасаду. Из этого озера, которое заполняло центр красивой равнины, убранной купами буков и вязов и служившей пастбищем для овец, вытекала река; на протяжении нескольких миль она извивалась среди восхитительных лугов и лесов и впадала наконец в море, замыкавшее горизонт своим широким рукавом, с островом посередине.

Направо от этой долины открывалась другая, не столь обширная, с разбросанными по ней селениями, и кончавшаяся увитой плющом башней и еще уцелевшей частью фасада старого разрушенного монастыря.

По левую руку открывался вид на прекрасный парк, раскинутый по очень неровной местности и приятно радовавший взгляд всем разнообразием, какое могут явить холмы, лужайки, деревья и воды, распланированные с удивительным изяществом не столько искусной рукой человека, сколько самой природой. Дальше местность постепенно поднималась и переходила в гребень диких гор, вершины которых скрывались в облаках.

Было замечательное ясное майское утро, когда мистер Олверти вышел на террасу, и заря с каждой минутой все шире раскрывала перед ним только что описанный прелестный пейзаж. Выслав вперед потоки света, разливавшиеся по голубому небосклону как предвестники его великолепия, во всем блеске своего величия взошло солнце, затмить которое в нашем брэнном мире могло только одно существо, и этим существом был сам Олверти – человек, исполненный любви к ближнему и размышлявший, каким бы способом получше угодить творцу, делая добро его творениям.

Читатель, берегись! Я необдуманно завел тебя на вершину столь высокой горы, как особа мистера Олверти, и теперь хорошенько не знаю, как тебя спустить, не сломав шею. Все же давай-ка попробуем скатиться вместе, ибо мисс Бриджет звонит, приглашая мистера Олверти к завтраку, на котором и я должен присутствовать, и буду рад, если ты пожуешь вместе со мной.

Обменявшись обычными приветствиями с мисс Бриджет и подождав, пока нальют чай, мистер Олверти велел позвать миссис Вилкинс и сказал сестре, что у него есть для нее подарок; та поблагодарила, вообразив, должно быть, что речь идет о каком-нибудь платье или драгоценности. Брат очень часто делал ей такие подарки, и в угоду ему она тратила немало времени

на свой туалет. Я говорю «в угоду брату», потому что сама она всегда выражала величайшее презрение к нарядам и к тем дамам, которые ими занимаются.

Но если таковы были ее ожидания, то как же была она разочарована, когда миссис Вилкинс, исполняя приказание своего хозяина, принесла ребенка! Крайнее изумление, как известно, бывает обыкновенно немым; так и мисс Бриджет не промолвила ни слова, пока брат не нарушил молчания, рассказав ей всю историю. Читатель уже знает ее, так что мы не станем передавать его рассказ.

Мисс Бриджет всегда свидетельствовала такое уважение к тому, что дамы благоволят называть добродетелью, и сама держала себя так строго, что присутствующие, особенно же миссис Вилкинс, ожидали от нее по этому поводу потока горьких слов и предложения немедленно удалить из дома ребенка, как вредного звереныша. Но она, напротив, отнеслась к происшествию весьма благодушно, выразила некоторое сострадание к беспомощному малютке и похвалила брата за совершенное им доброе дело.

Может быть, читатель объяснит себе это поведение ее уступчивостью мистеру Олверти, если мы ему поведаем, что в заключение своего рассказа этот добрый человек объявил о своем решении позаботиться о ребенке и воспитать его, как родное дитя; ибо, нужно сказать правду, мисс Бриджет всегда была готова угодить брату очень редко, а может быть, и никогда, не противоречила его суждениям. Правда, подчас у нее вырывались кое-какие замечания – вроде того, что мужчины своевольны и непременно хотят поставить на своем и что ей очень хотелось бы иметь независимое состояние, – но все подобные замечания высказывались потихоньку, и голос ее самое большее возвышался до так называемого ворчания.

Впрочем, эта сдержанность мисс Бриджет по отношению к ребенку была щедро возмещена расточительностью по адресу бедной неизвестной матери; она обозвала ее срамницей, скверной шлюхой, наглой девкой, бесстыдной тварью, подлой потаскухой и другими подобными именами, на которые не скупится добродетель, когда хочет заклеить негодниц, наносящих бесчестье женскому полу.

Потом стали совещаться, каким образом обнаружить мать ребенка. Сперва разобрали по косточкам поведение всей женской прислуги в доме; но миссис Вилкинс выгородила своих подручных, и была, несомненно, права: она сама их подобрала, и вряд ли где-нибудь еще можно было найти такую коллекцию огородных пугал. Следующим шагом был розыск среди обитательниц прихода; дело это поручили миссис Вилкинс, которая должна была произвести самое тщательное расследование и доложить после обеда о его результатах.

Порешив на этом, мистер Олверти удалился, по обыкновению, к себе в кабинет и оставил ребенка сестре, которая, по его просьбе, взяла на себя заботы о нем.

Глава V

которая содержит самые обыкновенные события с весьма необыкновенным по их поводу замечанием

После ухода мистера Олверти Дебора молча ожидала, какую ей подаст реплику мисс Бриджет: искушенная домоправительница нисколько не полагалась на то, что произошло при ее хозяине, ибо не раз бывала свидетельницей, как мнения барышни в присутствии брата резко отличались от высказанных в его отсутствие. Мисс Бриджет, однако, недолго протомила ее в этом неопределенном состоянии. Внимательно посмотрев на ребенка, спавшего на коленях у Деборы, добрая дама не выдержала: крепко поцеловала дитя, заявив, что она в восторге от его красоты и невинности. Едва только Дебора увидела это, как кинулась обнимать его и осыпать поцелуями с тем неистовством, с каким иногда степенная сорокапятилетняя дама обнимает своего юного и здорового жениха. «Ах, что за милый малютка! Миленочек, душка, красавчик! Ей-богу, такого красивого мальчишка еще свет не видел!» – пронзительно вскрикивала она.

Восклицания эти были наконец прерваны ее госпожой, которая, исполняя поручение, данное ей братом, распорядилась приготовить для ребенка все необходимое и отвела ему под детскую одну из лучших комнат в доме. Щедрость ее при этом была так велика, что, будь даже ребенок ее родным сыном, и тогда она не могла бы распорядиться щедрее; но, чтобы добродетельный читатель не осудил ее за столь исключительное внимание к ребенку низкого происхождения, всякое милосердие к которому возбраняется законом, как противное религии, мы считаем долгом заметить, что распоряжения свои она заключила так: раз уж ее брат вздумал усыновить мальчишку, то, разумеется, с барчонком нужно обойтись как можно ласковее. Сама она считает, что это – потакание пороку, но ей слишком хорошо известно упрямство мужчин, чтобы она стала противиться их нелепым причудам.

Таковыми рассуждениями она, как уже было сказано, обыкновенно сопровождала каждую свою уступку братниным желаниям; и, конечно, ничто не могло в большей степени поднять цены ее угодливости, чем заявление, что она сознает всю нелепость и безрассудство этих желаний и все-таки им подчиняется. Молчаливое повинование не предполагает никакого напряжения воли и поэтому дается легко и без всяких усилий; но когда жена, ребенок, родственник или друг исполняют наши желания ворча и с неохотой, высказывая неудовольствие и досаду, то очевидный труд, который они для этого приложили, сильно повышает в наших глазах их одолжение.

Это одно из тех глубоких замечаний, которые едва ли кто из читателей способен сделать самостоятельно, и потому я счел своим долгом прийти им на помощь; но на такую любезность не следует особенно рассчитывать в этом произведении. Нечасто буду я настолько снисходителен к читателю; разве вот в таких случаях, как настоящий, когда столь замечательное открытие может быть сделано не иначе как с помощью вдохновения, свойственного только нам, писателям.

Глава VI

Миссис Дебора вводится в среду прихожан при помощи риторического сравнения. Краткие сведения о Дженни Джонс с описанием трудностей и препятствий, встречаемых порой молодыми женщинами на пути к знанию

Устроив ребенка согласно приказанию своего хозяина, миссис Дебора приготовилась посетить жилища, в которых, как можно было предполагать, скрывалась его мать.

Как при виде парящего в высоте и повисшего над головой коршуна, грозы пернатого царства, нежный голубь и иные безобидные птички распространяют кругом смятение и в трепете разлетаются по тайникам, а он гордо, в сознании собственного достоинства, рассекает воздух, обдумывая затеянное злодеяние, – так при вести о приближении миссис Деборы все обитательницы прихода в трепете разбежались по своим домам, и каждая хозяйка молила о том, чтобы грозное посещение ее миновало. Величественным шагом, гордо выступает она по полю битвы, высоко подняв царственную голову, исполненная убеждения в своем превосходстве, обдумывая, как бы половчее произвести желанное открытие.

Проницательный читатель не заключит из этого сравнения, что бедные поселяне сколько-нибудь догадывались о намерениях направлявшейся к ним миссис Вилкинс; но так как величие нашего сравнения может остаться неопределенным в течение сотни лет, пока это произведение не попадет в руки какого-нибудь будущего комментатора, то я считаю полезным оказать здесь читателю некоторую помощь.

Итак, мое намерение – показать, что, насколько в природе коршуна пожирать мелких птичек, настолько в природе таких особ, как миссис Вилкинс, обижать и тиранить мелкий люд. Этим способом они обыкновенно вознаграждают себя за крайнее раболепство и угодливость по отношению к своим господам; ведь вполне естественно, что рабы и льстецы взимают со стоящих ниже их ту дань, какую сами платят стоящим выше их.

Каждый раз, как миссис Деборе случалось сделать что-либо чрезвычайное в угоду мисс Бриджет и тем несколько омрачить свое хорошее расположение духа, она обыкновенно отправлялась к этим людям и отводила душу, изливая на них и, так сказать, опоражнивая всю накопившуюся в ней горечь. По этой причине она никогда не бывала желанной гостьей, и, правду сказать, все единодушно ее боялись и ненавидели.

Придя в селение, она отправилась прямо к одной пожилой матроне, к которой обыкновенно относилась милостивее, чем к остальным, потому что матрона имела счастье походить на нее миловидностью и быть ее ровесницей. Этой женщине поведала она о случившемся и о цели своего сегодняшнего посещения. Обе тотчас же стали перебирать всех девушек в приходе, и наконец подозрение их пало на некую Дженни Джонс, которая, по их согласному мнению, скорее всех была виновна в этом проступке.

Эта Дженни Джонс не отличалась ни красотой лица, ни стройностью стана, но природа в известной степени вознаградила ее за недостаток красоты тем качеством, которое обыкновенно больше ценится женщинами, с возрастом достигшими полной зрелости в своих суждениях: она одарила ее весьма незаурядом умом. Дар этот Дженни еще развила учением. Она пробывала несколько лет служанкой у школьного учителя, который, обнаружив в девушке большие способности и необыкновенное пристрастие к знанию – все свободные часы она проводила за чтением школьных учебников, – возымел добрую или безрассудную мысль – как будет угодно читателю назвать ее – настолько обучить ее латинскому языку, что в своих познаниях она, вероятно, не уступала большинству молодых людей хорошего общества того времени. Однако преимущество это, подобно большей части не совсем обыкновенных преимуществ, сопровождалось кое-какими маленькими неудобствами: молодая женщина с таким образованием, есте-

ственно, не находила большого удовольствия в обществе людей, равных ей по положению, но по развитию стоящих значительно ниже ее, и потому не надо особенно удивляться, что это превосходство Дженни, неизбежно отражавшееся в ее обращении, вызывало у остальных нечто вроде зависти и недоброжелательства, должно быть, тайно запавших в сердца ее соседок с тех пор, как она вернулась со службы домой.

Однако зависть не проявлялась открыто, пока бедная Дженни, к общему удивлению и досаде всех молодых женщин этих мест, не появилась в один воскресный день публично в новом шелковом платье, кружевном чепчике и других принадлежностях туалета того же качества.

Пламя, прежде таившееся под спудом, теперь вырвалось наружу. Образование усилило гордость Дженни, но никто из ее соседок не выказывал готовности поддерживать эту гордость тем вниманием, какого она, по-видимому, требовала; и на этот раз вместо почтительного восхищения наряд ее вызвал только ненависть и оскорбительные замечания. Весь приход объявил, что она не могла получить такие вещи честным путем; и родители, вместо того чтобы пожелать и своим дочерям такие же наряды, поздравляли себя с тем, что у их детей таких нарядов нет.

Может быть, по этой именно причине упомянутая почтенная женщина прежде всего назвала миссис Вилкинс имя бедной Дженни; но было и другое обстоятельство, укрепившее Дебору в ее подозрении: в последнее время Дженни часто бывала в доме мистера Олверти. Она исполняла должность сиделки мисс Бриджет, которая была опасно больна, и провела немало ночей у постели этой дамы; кроме того, миссис Вилкинс собственными глазами видела ее в доме в самый день приезда мистера Олверти, хотя это и не возбудило тогда в этой проникательной особе никаких подозрений; ибо, по ее собственным словам, она «всегда считала Дженни благонаправленной девушкой (хотя, по правде говоря, она очень мало знает ее) и скорее подумала бы на кого-нибудь из тех беспутных замарашек, что ходят, задрав нос, воображая себя бог весь какими хорошенькими».

Дженни было приказано явиться к миссис Деборе, что она немедленно и сделала. Миссис Дебора, напустив на себя важный вид строгого судьи, встретила ее словами: «Дерзкая распутница!» – и в своей речи не стала даже обвинять подсудимую, а прямо произнесла ей приговор.

Хотя по указанным основаниям миссис Дебора была совершенно убеждена в виновности Дженни, но мистер Олверти мог истребовать более веских улик для ее осуждения; однако Дженни избавила своих обвинителей от всяких хлопот, открыто признавшись в проступке, который на нее вваливали.

Признание это, хотя и сделанное в покаянном тоне, ничуть не смягчило миссис Дебору, которая вторично произнесла Дженни приговор, в еще более оскорбительных выражениях, чем первый; не больше успеха имело оно и у собравшихся в большом числе зрителей. Одни из них громко кричали: «Так мы и знали, что шелковое платье барышни этим кончится!», другие насмешливо говорили об ее учености. Из присутствующих женщин ни одна не упустила случая выказать бедной Дженни свое отвращение, и та все перенесла терпеливо, за исключением злобной выходки одной кумушки, которая прошла не очень лестно насчет ее наружности и сказала, задрав нос: «Неприхотлив, должно быть, молодчик, коль дарит шелковые платья такой дряни!» Дженни ответила на это с резкостью, которая удивила бы здравомыслящего наблюдателя, видевшего, как спокойно она выслушивала все оскорбительные замечания о ее целомудрии; но, видно, терпение ее истощилось, ибо добродетель эта скоро утомляется от практического применения.

Миссис Дебора, преуспев в своем расследовании свыше всяких чаяний, с большим торжеством вернулась домой и в назначенный час сделала обстоятельный доклад мистеру Олверти, которого очень поразил ее рассказ; он был наслышан о необыкновенных способностях и успехах Дженни и собирался даже выдать ее за соседнего младшего священника, обеспечив его небольшим приходом. Его огорчение по этому случаю было не меньше удовольствия,

которое испытывала миссис Дебора, и многим читателям, наверное, покажется гораздо более справедливым.

Мисс Бриджет перекрестилась и сказала, что с этой минуты она больше ни об одной женщине не будет хорошего мнения. Надобно заметить, что до сих пор Дженни имела счастье пользоваться также и ее благосклонностью.

Мистер Олверти снова послал мудрую домоправительницу за несчастной преступницей, не затем, однако, как надеялись иные и все ожидали, чтобы отправить ее в исправительный дом, но чтобы высказать ей порицание и преподать спасительное наставление, с каковыми любители назидательного чтения познакомятся в следующей главе.

Глава VII

которая содержит такие важные материи, что читатель на всем ее протяжении ни разу не посмеется, – разве только над автором

Когда Дженни явилась, мистер Олверти увел ее в свой кабинет и сказал следующее:

– Ты знаешь, дитя мое, что властью судьи я могу очень строго наказать тебя за твой проступок; и тебе следует опасаться, что я применю эту власть в тем большей степени, что ты в некотором роде сложила свои грехи у моих дверей.

Однако это, может быть, и послужило для меня основанием поступить с тобой мягче. Личные чувства не должны оказывать влияние на судью, и поэтому я не только не хочу видеть в твоём поступке с ребенком, которого ты подкинула в мой дом, обстоятельство, отягчающее твою вину, но, напротив, полагаю, к твоей выгоде, что ты сделала это из естественной любви к своему ребенку, надеясь, что у меня он будет лучше обеспечен, чем могла бы обеспечить его ты сама или негодный отец его. Я был бы действительно сильно разгневан на тебя, если бы ты обошлась с несчастным малюткой подобно тем бесчувственным матерям, которые, расставшись со своим целомудрием, утрачивают также всякие человеческие чувства. Итак, есть другая сторона твоего проступка, за которую я намерен пожуричь тебя: я имею в виду утрату целомудрия – преступление весьма гнусное само по себе и ужасное по своим последствиям, как легко ни относятся к нему развращенные люди.

Гнусность этого преступления совершенно очевидна для каждого христианина, поскольку оно является открытым вызовом законам нашей религии и определенно выраженным заповедям основателя этой религии.

И легко доказать, что последствия его ужасны; ибо что может быть ужаснее божественного гнева, навлекаемого нарушением божественных заповедей, да еще в столь важном проступке, за который возведено особенно грозное отмщение?

Но эти вещи, хоть им, боюсь, и уделяется слишком мало внимания, настолько ясны, что нет никакой надобности осведомлять о них людей, как бы ни нуждались последние в постоянном о них напоминании. Довольно, следовательно, простого намека, чтобы привлечь твою мысль к этим предметам: мне хочется вызвать в тебе раскаяние, а не повергнуть тебя в отчаяние.

Есть еще и другие последствия этого преступления, не столь ужасные и не столь отвратительные, но все же способные, мне кажется, удержать от него всякую женщину, если она внимательно поразмыслит о них.

Ведь оно покрывает женщину позором и, как ветхозаветных прокаженных, изгоняет ее из общества – из всякого общества, кроме общества порочных и коснеющих в грехе людей, ибо люди порядочные не пожелают знаться с ней.

Если у женщины есть состояние, она лишается возможности пользоваться им; если его нет, она лишается возможности приобретать его и даже добывать себе пропитание, ибо ни один порядочный человек не примет ее к себе в дом. Так сама нужда часто доводит ее до срама и нищеты, неминуемо кончающихся погибелью тела и души.

Разве может какое-нибудь удовольствие вознаградить за такое зло? Разве способно какое-нибудь искушение настолько прельстить и оплести тебя, чтобы ты согласилась пойти на такую нелепую сделку? Разве способно, наконец, плотское влечение настолько одолеть твой разум или погрузить его в столь глубокий сон, чтобы ты не бежала в страхе и трепете от преступления, неизменно влекущего за собой такую кару?

Сколь низкой и презренной, сколь лишенной душевного благородства и скромной гордости, без коих мы недостойны имени человека, должна быть женщина, которая способна срав-

няться с последним животным и принести все, что есть в ней великого и благородного, все свое небесное наследие в жертву вожделению, общему у нее с самыми гнусными тварями! Ведь ни одна женщина не станет оправдываться в этом случае любовью. Это значило бы признать себя простым орудием и игрушкой мужчины. Любовь, как бы варварски мы ни извращали и ни искажали значение этого слова, – страсть похвальная и разумная и может стать неодолимой только в случае взаимности; ибо хотя Писание повелевает нам любить врагов наших, но отсюда не следует, чтобы мы любили их той горячей любовью, какую естественно питаем к нашим друзьям; и еще менее, чтобы мы жертвовали им нашей жизнью и тем, что должно быть нам дороже жизни, – нашей невинностью. А кого же, если не врага, может видеть рассудительная женщина в мужчине, который хочет возложить на нее все описанные мной бедствия ради краткого, пошлого, презренного наслаждения, купленного в значительной мере за ее счет! Ведь обычно весь позор со всеми его ужасными последствиями падает всецело на женщину. Разве может любовь, которая всегда ищет добра любимому предмету, пытаться вовлечь женщину в столь убыточную для нее сделку? Поэтому, если такой соблазнитель имеет бесстыдство притворно уверять женщину в искренности своего чувства к ней, разве не обязана она смотреть на него не просто как на врага, но как на злейшего из врагов – как на ложного, коварного, вероломного, притворного друга, который замышляет растлить не только ее тело, но также и разум ее?

Тут Дженни стала выражать глубокое сокрушение. Олверти помедлил немного и потом продолжал:

– Я сказал все это, дитя мое, не с тем, чтобы тебя выбрать за то, что прошло и непоправимо, но чтобы предостеречь и укрепить на будущее время. И я не взял бы на себя этой заботы, если бы, несмотря на твой ужасный промах, не предполагал в тебе здравого ума и не надеялся на чистосердечное раскаяние, видя твое откровенное и искреннее признание. Если оно меня не обманывает, я постараюсь усладить тебя из этого места, бывшего свидетелем твоего позора, туда, где ты, никому не известная, избежешь наказания, которое, как я сказал, постигнет тебя за твое преступление в этом мире; и я надеюсь, что благодаря раскаянию ты избежешь также гораздо более тяжкого приговора, возвещенного против него в мире ином. Будь хорошей девушкой весь остаток дней твоих, и никакая нужда не совратит тебя с пути истины; поверь, что даже в этом мире невинная и добродетельная жизнь дает больше радости, чем жизнь развратная и порочная.

А что касается ребенка, то о нем тебе нечего тревожиться: я позабочусь о нем лучше, чем ты можешь ожидать. Теперь тебе остается только сообщить, кто был негодяй, соблазнивший тебя; гнев мой обрушится на него с гораздо большей силой, чем на тебя.

Тут Дженни скромно подняла опущенные в землю глаза и почтительным тоном начала так:

– Знать вас, сэр, и не любить вашей доброты – значило бы доказать полное отсутствие ума и сердца. Я выказала бы величайшую неблагодарность, если бы не была тронута до глубины души великой добротой, которую вам угодно было проявить ко мне. Что же касается моего сокрушения по поводу случившегося, то я знаю, что вы пощадите мою стыдливость и не заставите возвращаться к этому предмету. Будущее поведение покажет мои чувства гораздо лучше всяких обещаний, которые я могу дать сейчас. Позвольте вас заверить, сэр, что ваши наставления я принимаю с большей признательностью, чем великодушное предложение, которым вы заключили свою речь, ибо, как вы изволили сказать, сэр, они доказывают ваше высокое мнение о моем уме.

Тут хлынувшие потоком слезы заставили ее остановиться на минуту; немного успокоившись, она продолжала так:

– Право, сэр, доброта ваша подавляет меня; но я постараюсь оправдать ваше лестное обо мне мнение; ибо если я не лишена ума, который вы так любезно изволили приписать мне,

то ваши драгоценные наставления не могут пропасть втуне. От всего сердца благодарю вас, сэр, за заботу о моем бедном, беспомощном дитяти; оно невинно и, надеюсь, всю жизнь будет благодарно за оказанные вами благодеяния. Но на коленях умоляю вас, сэр, не требуйте от меня назвать отца его! Твердо вам обещаю, что со временем вы это узнаете; но в настоящую минуту самые торжественные обязательства чести, самые святые клятвы и заверения заставляют меня скрывать его имя. Я слишком хорошо вас знаю, вы не станете требовать, чтобы я пожертвовала своей честью и святостью клятвы.

Мистер Олверти, которого способно было поколебать малейшее упоминание этих священных слов, с минуту находился в нерешительности, прежде чем ответить, и затем сказал Дженни, что она поступила опрометчиво, дав такие обещания негодяю; но раз уж они даны, он не может требовать их нарушения. Он спросил об имени преступника не из праздного любопытства, а для того, чтобы наказать его или, по крайней мере, не облагодетельствовать, по неведению, недостойного.

На этот счет Дженни успокоила его торжественным заверением, что этот человек находится вне пределов досягаемости: он ему не подвластен и, по всей вероятности, никогда не сделается предметом его милостей.

Прямодушие Дженни подействовало на почтенного сквайра так подкупающе, что он поверил каждому ее слову. То обстоятельство, что для своего оправдания она не унизилась до лжи и не побоялась вызвать в нем еще большее нерасположение к себе, отказавшись выдать своего сообщника, чтобы не поступиться честью и прямоотой, рассеяло в нем всякие опасения насчет правдивости ее показаний.

Тут он отпустил ее, пообещав в самом скором времени сделать ее недосыгаемой для злословия окружающих, и заключил еще несколькими увещаниями раскаяться, сказав:

– Помни, дитя мое, что ты должна примириться еще с тем, чья милость неизмеримо для тебя важнее, чем моя.

Глава VIII

Диалог между госпожами Бриджет и Деборой, который содержит больше забавного, но меньше поучительного, чем предшествующий

Едва мистер Олверти, как мы видели, удалился с Дженни Джонс в свой кабинет, как мисс Бриджет и почтенная домоправительница бросились к наблюдательному посту в смежной комнате, откуда сквозь замочную скважину всосали своими ушами поучительное назидание, преподанное мистером Олверти, а также ответы Дженни и вообще подробности, о которых было рассказано в предыдущей главе.

Эта скважина в дверях кабинета была прекрасно известна мисс Бриджет, и она прикладывалась к ней столь же часто, как древняя Фисба¹⁰ к знаменитой щели в стене. Это служило ей для многих полезных целей. Таким способом мисс Бриджет нередко узнавала братнины намерения, избавляя его от труда излагать их. Правда, общение это сопровождалось кое-какими неудобствами, и подчас у нее бывали основания воскликнуть вместе с шекспировской Фисбой: «О, злобная, злобная стена!» Дело в том, что мистер Олверти был мировым судьей, и при разборе дел о незаконных детях и тому подобного у него в комнате слышались разговоры, способные сильно оскорбить целомудренный слух девиц, особенно когда они приближаются к сорокалетнему возрасту, как мисс Бриджет. Однако в таких случаях она пользовалась преимуществом скрывать румянец от людских глаз. Как говорится, *de non apparentibus et non existentibus eadem est ratio*, что можно перевести так: «Когда никто не видит, как женщина краснеет, она не краснеет вовсе».

Обе почтенные дамы хранили гробовое молчание в течение всего диалога между мистером Олверти и Дженни; но едва только он кончился и они отошли на такое расстояние, что этот джентльмен не мог их слышать, как миссис Дебора не выдержала и разразилась жалобами на снисходительность своего хозяина и особенно на то, что он позволил девушке утаить имя отца ребенка, которое она поклялась выведать от нее еще до захода солнца.

При этих словах на лице мисс Бриджет изобразилась улыбка (вещь очень для нее необычная). Да не подумает читатель, что это была одна из тех шаловливых улыбок, какие Гомер предлагает вам вообразить на лице Венеры, когда называет ее смехолюбивой богиней, или же одна из тех улыбок, какими стреляет из своей литерной ложи леди Серафина на зависть самой Венере, которая отдала бы за нее свое бессмертие. Нет, это была скорее одна из тех улыбок, какие можно предположить на впалых щеках величественной Тизифоны¹¹ или одной из девиц – сестер ее.

И вот с такой улыбкой и голосом, мелодичным, как вечернее дуновение Борея в очаровательном месяце ноябре, мисс Бриджет мягко пожурила миссис Дебору за ее любопытство – порок, которым последняя, по-видимому, была сильно заражена и против которого первая высказалась очень резко, заявив, что при всех ее недостатках враги ее, благодарение Богу, не могут обвинить ее в том, что она суется в чужие дела.

Потом она принялась хвалить благородство и такт Дженни. Она сказала, что не может не согласиться с братом; искренность ее признания и честность по отношению к любовнику заслуживают одобрения; что она всегда считала Дженни порядочной девушкой и не сомнева-

¹⁰ *Фисба*. – Вавилонское сказание о несчастной любви Пирама и Фисбы увековечено в I веке н. э. римским поэтом Овидием в четвертой книге «Метаморфоз». Скрывая свои встречи от родителей, влюбленные устраивали свидания, переговариваясь сквозь щель в стене, которая разделяла их дома. Эту сцену Шекспир ввел в свою комедию «Сон в летнюю ночь» (действие V, сцена 1), откуда и взято упомянутое восклицание. (*Примеч. пер.*)

¹¹ *Тизифона* — одна из трех эринний, или, в римской мифологии, фурий, богинь подземного царства (Тартара), мстительниц за преступления (греч. миф.). (*Примеч. пер.*)

ется в том, что ее соблазнил какой-нибудь мерзавец, гораздо больше ее достойный порицания, который, по всей вероятности, увлек девушку обещанием жениться или иным предательским способом.

Такое поведение мисс Бриджет сильно удивило миссис Дебору. Эта благовоспитанная дама редко открывала рот перед своим хозяином и его сестрой, не выведав предварительно их намерений, с которыми ее мнения всегда совпадали. Тут, однако, она сочла, что может выступить безопасно; и проникательный читатель едва ли обвинит ее в недостатке предусмотрительности, но скорее подивится, с какой поразительной быстротой она повернула руль, убедившись, что держит неверный курс.

– Да, сударыня, – сказала эта способная женщина и поистине великий дипломат, – сказать правду, и я, подобно вашей милости, не могу не удивляться уму этой девушки. И если, как говорит ваша милость, ее обманул какой-нибудь злодей, то бедняжка достойна сожаления. Право, как говорит ваша милость, она всегда казалась порядочной, честной, прямодушной девушкой и, ей-богу, никогда не чванилась своей смазливостью, как иные бесстыдницы, ее соседки.

– Это правда, Дебора, – отвечала мисс Бриджет. – Если бы она была тщеславной девчонкой, которых столько в нашем приходе, я осудила бы брата за снисходительность к ней. На днях я видела в церкви двух фермерских дочек с открытой шеей. До чего я была возмущена! Если эти девки сами приманивают парней, выставляя напоказ свои прелести, пусть потом страдают – не жалко. Терпеть не могу таких тварей! Для них было бы лучше, если бы лица их были разукрашены оспой. Но, право же, я никогда не замечала такого бесстыдства у Дженни. Убеждена, что какой-нибудь хитрый негодяй обманул ее, может быть, даже изнасиловал! От всего сердца жалею бедняжку.

Миссис Дебора одобрила все эти сентенции, и диалог был заключен самым резким порицанием красоты и многими соболезнованиями по адресу простых, честных девушек, вводимых в заблуждение злыми кознями обманщиков-мужчин.

Глава IX

содержащая события, которые удивят читателя

Дженни вернулась домой, очень довольная приемом, который был ей оказан мистером Олверти, и старательно разгласила о его снисходительности – частью, вероятно, для того, чтобы польстить своему самолюбию, а частью из более благоразумного желания расположить к себе соседей и прекратить дурные толки.

Но хотя этот последний мотив, если она действительно им руководилась, может показаться довольно разумным, однако результаты не оправдали ее ожиданий. Когда Дженни позвали к судье и всем казалось, что ей не миновать исправительного дома, то, хотя некоторые молодые женщины закричали, что «туда ей и дорога», и потешались над тем, как она в шелковом платье будет трепать пеньку, – однако было немало и таких, которые начали ее жалеть; но когда стало известно, каким образом мистер Олверти обошелся с ней, общественное мнение круто изменилось. Одна говорила: «Везет же нашей барышне!» Другая кричала: «Поглядите-ка, что значит быть в милости!» Третья: «А все оттого, что ученая!» Словом, по этому случаю каждая сделала какое-нибудь злобное замечание и попрекнула судью за пристрастие.

Такое поведение соседей может показаться читателю неблагоразумным и неблагодарным, если он примет в соображение власть и доброту мистера Олверти. Но он никогда не пользовался своей властью, а что касается доброты, то он выказывал ее так часто, что досадил всем своим соседям. Большие люди хорошо знают, что, делая кому-нибудь одолжение, они не всегда приобретают друга, но непременно наживают себе множество врагов.

Однако благодаря заботам и доброте мистера Олверти Дженни скоро была удалена в такое место, куда до нее не доходили упреки; тогда злоба, лишившись возможности излить свою ярость на нее, начала искать себе другой предмет и нашла его в лице самого мистера Олверти: вскорости пошел слух, что он сам отец подкинутого ребенка.

Это предположение так хорошо согласовалось с его образом действий, что встретило единодушную поддержку, и вопли против его снисходительности превратились в нападки на жестокость его поступка с бедной девушкой. Степенные и добродетельные женщины громко обвиняли мужчин, которые производят на свет детей, а потом от них отрекаются. Не было недостатка и в таких, которые после отъезда Дженни стали намекать, что она была увезена с гнусным намерением, и даже говорили, что не худо бы произвести законное расследование всего этого дела и заставить кой-кого выдать девушку.

Подобная клевета, очень возможно, повлекла бы за собой дурные последствия или, по крайней мере, доставила бы некоторые неприятности человеку с более сомнительной и подозрительной репутацией, чем у мистера Олверти, но в применении к нему она не возымела такого действия: встреченная им с глубочайшим презрением, она послужила только к невинному развлечению местных кумушек.

Но так как мы не можем угадать, какого мнения на этот счет наш читатель, и пройдет еще немало времени, прежде чем он услышит снова о Дженни, то считаем долгом заранее осведомить его, что мистер Олверти был, как это впоследствии обнаружится, совершенно невинен ни в каком преступном намерении. Он сделал лишь ту тактическую ошибку, что судил милостиво и не пожелал ублажать сострадательную чернь¹², дав пищу для ее добрых чувств в лице бедной Дженни, которую всем хотелось видеть заключенной в исправительный дом, погибшей и опозоренной, чтобы иметь случай пожалеть ее.

¹² Каждый раз, когда это слово встречается в наших сочинениях, оно означает людей, лишенных добродетелей и здравого смысла, не разбирая звания, и часто при этом подразумеваются особы самого высокого ранга.

Мистер Олверти совершенно пренебрег этим желанием, удовлетворение которого похоронило бы всякую надежду на исправление девушки и закрыло бы перед ней двери, если бы даже она сама вздумала когда-нибудь вступить на путь добродетели, и предпочел, напротив, поощрить ее в этом намерении единственным возможным способом; ведь многие женщины, боюсь, сбились с пути и погрузились на самое дно порока лишь потому, что не имели возможности подняться после первого падения. Боюсь, так бывает всегда, если они остаются в кругу прежних знакомых. Поэтому мистер Олверти поступил мудро, удалив Дженни в такое место, где она могла наслаждаться добрым именем, после того как узнала на опыте, к каким горьким последствиям приводит его потеря.

Пожелаем же ей счастливого пути и пока простимся с ней и с маленьким найденышем, ее сыном, ибо нам предстоит сообщить читателю о гораздо более важных событиях.

Глава X

Гостеприимство Олверти с кратким очерком характеров двух братьев – доктора и капитана, проживающих под кровом этого джентльмена

Ни дом, ни сердце мистера Олверти ни для кого не были закрыты, но особенно широко они распахивались перед людьми достойными. По правде говоря, это был единственный дом в Англии, где вам был обеспечен обед, если вы его заслужили.

Больше всех остальных милостями его пользовались люди с поэтическим дарованием и ученые; но и между ними мистер Олверти делал большое различие; обстоятельства, правда, помешали ему получить законченное образование, однако, будучи наделен большими природными способностями, он настолько усовершенствовал свой ум прилежным, хоть и запоздалым изучением наук и беседами со многими выдающимися людьми, что сам стал весьма компетентным судьей во всех областях литературы.

Неудивительно, что в век, когда заслуги этого рода так мало в моде и так скудно вознаграждаются, обладающие ими люди усердно стекались в место, где с полной уверенностью могли рассчитывать на любезный прием, и пользовались всеми благами богатства почти так же свободно, как если бы они сами были хозяевами; ибо мистер Олверти не принадлежал к числу тех хлебосолов, которые готовы щедро кормить, поить и давать кров людям умным и образованным, но с условием, чтобы они их развлекали, поучали, льстили им и прислуживали, – словом, записались к ним в лакеи, не нося только ливреи и не получая жалованья.

В доме мистера Олверти, напротив, каждый был полным хозяином своего времени; каждый мог удовлетворять все свои желания в рамках закона, нравственности и религии и вправе был поэтому, если требовало состояние его здоровья и склонность к умеренности или даже к полному воздержанию, не являться к столу или вставать из-за стола, когда ему вздумается, не опасаясь, что его будут упрашивать остаться: ведь подобные упрашивания со стороны высших всегда сильно отзываются приказанием. Здесь никому из гостей не угрожала такая бесцеремонность – не только богачам, принять которых везде считается за честь, но даже и людям со скромными средствами, для которых подобный даровой кров является хорошим подспорьем и которые за столом большого барина не так желательны, потому что они нуждаются в обеде.

В числе таких людей был доктор Блайфил, человек способный, но, к несчастью, не имевший возможности усовершенствовать свои большие дарования из-за упрямства отца, непременно хотевшего подготовить его к профессии, которую он не любил. Из-за этого упрямства доктор принужден был в молодости изучать медицину, или, вернее, говорить, будто ее изучает, так как в действительности из всех книг только медицинские остались, кажется, ему знакомы; доктор, к несчастью, овладел почти всеми науками, кроме той, при помощи которой ему надо было добывать себе пропитание; следствием этого было то, что к сорока годам он остался без куска хлеба.

Такой человек мог быть уверен, что найдет радушный прием в доме мистера Олверти, для которого несчастья всегда служили хорошей рекомендацией, если они проистекали от безрассудства и подлости других, а не самого несчастливца. Кроме этого отрицательного качества у доктора было еще и положительное: он имел вид человека очень набожного. Была ли эта набожность настоящая или только показная, я не берусь судить, так как не обладаю мериллом для различения истинного и поддельного в этой области.

Если эта черта его характера нравилась мистеру Олверти, то мисс Бриджет была от нее в восторге. Она любила вовлекать доктора в богословские споры, причем всегда бывала весьма удовлетворена его познаниями и едва ли меньше – комплиментами, которые он часто расточал насчет собственной ее учености. И в самом деле, мисс Бриджет прочла много английских

богословских сочинений и поставила в тупик не одного соседнего священника. Речи ее всегда были так чисты, взгляды так скромны и вся осанка такая важная и торжественная, что она смело сошла бы за святую наравне со своей тезкой или другой подвижницей из римско-католического календаря.

Всякая симпатия способна зародить любовь, но опыт показывает, что у лиц разного пола больше всего этому благоприятствует родство религиозных чувств. Доктор обнаружил в мисс Бриджет такое расположение к себе, что начал сожалеть о несчастной случайности, приключившейся с ним лет десять назад, именно о женитьбе на другой женщине, которая не только была еще жива, что гораздо хуже, о существовании которой знал мистер Олверти. Это было роковой преградой к счастью, которого иначе он, по всей вероятности, достиг бы союзом с молодой дамой; ибо что касается прелюбодеяния, то, он, конечно, никогда и не помышлял о нем. Происходило это или от его набожности, что, пожалуй, наиболее вероятно, или от чистоты чувства, направленного на такие предметы, которые мог предоставить в его распоряжение или на которые мог дать ему право только законный брак, а не преступная связь. Размышляя на эти темы, доктор скоро вспомнил, что у него есть брат, не стесненный этой несчастной неправоподобностью. Он нисколько не сомневался, что этот брат будет иметь успех; ибо, как ему казалось, он заметил в мисс Бриджет сильную склонность к замужеству; и читатель, может быть, не станет порицать доктора за эту уверенность в успехе, когда услышит, какими качествами обладал брат его.

Это был джентльмен лет тридцати пяти, среднего роста и, как говорится, крепко сколоченный. Шрам на лбу не столько портил красоту его, сколько свидетельствовал о его доблести (он был запасный офицер на половинном окладе). Зубы у него были прекрасные и улыбка, когда он хотел, приветливая; в выражении его лица, а также в наружности и голосе, правда, было от природы много грубого, но он мог в любую минуту подавить эту грубость и становился тогда воплощенной любезностью и веселостью. Он был не без воспитания и не совсем лишен был ума, а в молодости отличался большой живостью, которую мог, когда хотел, выказать и теперь, хотя с годами сильно остепенился.

Так же как и доктор, он получил университетское образование; отец, с уже упомянутой родительской властью, назначил его в духовное звание; но старик умер, прежде чем сын посвящен был в священники, и брат доктора предпочел Церкви военную профессию и службе епископу – службу королю.

Он купил себе место драгунского поручика, а затем дослужился до капитана; но из-за ссоры с полковником принужден был, в собственных интересах, продать свое место. После этого он уединился в деревню, предался изучению Священного Писания, и его стали сильно подозревать в наклонности к методизму¹³.

Все это давало большую надежду, что такой человек будет иметь успех у набожной дамы, вдобавок весьма сильно расположенной к браку вообще. Но почему доктор, не питавший особенно дружеских чувств к брату, вздумал ради него так дурно отблагодарить Олверти за гостеприимство, – это вопрос, на который нелегко ответить.

Может быть, некоторым натурам зло доставляет такое же удовольствие, какое другие находят в добрых делах? Или нам приятно быть пособниками в воровстве, когда мы не можем совершить его сами? Или же, наконец (и опыт, по-видимому, подтверждает это), нас радует

¹³ *Методизм.* – Методисты – религиозная секта, образовавшаяся в Англии в 30-х годах XVIII века. Она была основана группой студентов-богословов Оксфордского университета во главе с братьями Весли (особенное значение имеет организаторская деятельность старшего брата, Джона, 1703–1791) и Джорджем Витфильдом (1714–1770). Методизм ставил себе целью строгое соблюдение внешнего благочестия, регламентацию частной жизни (отсюда и его название), а также проповедовал воздержание и умеренность, осуждая праздность, роскошь и разврат. Филдинг отрицательно относился к методизму (ср. его выпад против Витфильда – кн. VIII, гл. 8), порицая в нем главным образом лицемерие и ханжество. Награждая капитана Блайфила этими качествами, он не забыл наделить его пристрастием к методизму. (*Примеч. пер.*)

возвышение членов нашей семьи, пусть даже мы не чувствуем к ним ни малейшей любви и ни малейшего уважения?

Руководился ли доктор каким-нибудь из этих побуждений, мы не беремся решить, только дело обстояло именно так. Он послал за братом и легко нашел способ ввести его в дом Олверти, сказав, что тот приехал погостить на короткое время.

Не прошло и недели со времени приезда капитана, как доктор уже мог поздравить себя с большим успехом. Капитан оказался таким же мастером в искусстве любви, каким некогда был Овидий. Вдобавок он получил от брата полезные указания, которыми не преминул воспользоваться самым лучшим образом.

Глава XI

которая содержит много правил и несколько примеров того, как люди влюбляются; описание красоты и благоразумных побуждений к женитьбе

Мудрыми мужчинами или женщинами – я забыл, кем именно, – было замечено, что всем людям раз в жизни бывает суждено влюбиться. Особенного периода, насколько я помню, для этого не назначено; однако возраст, которого достигла мисс Бриджет, подходит для этого, как мне кажется, не хуже всякого другого. Правда, часто это случается гораздо раньше, но если не случилось, то, как я заметил, любовь почти никогда не забывает явиться в эту пору. Кроме того, можно утверждать, что в этом возрасте любовь обыкновенно бывает серьезнее и постояннее, чем в ранней молодости. Любовь девочек переменчива, своенравна и настолько бестолкова, что мы не всегда можем понять, чего, собственно, хочет молодая особа; позволительно даже усомниться, знает ли это она сама.

Но мы без затруднения можем угадать, чего хочет женщина лет под сорок; поскольку такие степенные, серьезные и искушенные дамы прекрасно знают свои желания, то даже самый непроницательный человек легко это откроет с полной достоверностью.

Мисс Бриджет служит наглядным доказательством всех этих замечаний. Стоило ей побывать несколько раз в обществе капитана, как она уже страстно в него влюбилась. Она не ходила возле дома, вздыхая и томясь, как зеленая, глупая девчонка, которая не понимает, что с ней творится; она знала, она наслаждалась волновавшим ее сладостным чувством, не боялась его и не стыдилась, будучи убеждена, что оно не только невинно, но и похвально.

И надо сказать правду: благоразумная страсть, которую женщина в этом возрасте чувствует к мужчине, во всех отношениях разнится от пустой детской любви девочки к мальчику, которая часто обращена только на внешность и на вещи ничтожные и преходящие, как, например, на румяные щеки, маленькие белые руки, черные, как смородина, глаза, волнистые локоны, покрытый нежным пушком подбородок, стройную талию и даже подчас на прелести еще более суетные и вовсе не принадлежащие к личности любимого, каковы чисто внешние украшения, которыми он обязан не природе, а портному, парикмахеру, шляпному мастеру и торговцу модными товарами. Такой страсти можно устыдиться, и неудивительно, что девочка обыкновенно не признается в ней ни себе, ни другим.

Любовь мисс Бриджет была иного рода. По части своего туалета капитан ничем не был обязан искусству моды, и природа не наградила его красотой. Иными словами, и одежда и наружность его были таковы, что, появившись в обществе или в гостиной, они сделались бы предметом презрения и насмешек всех изысканных дам. Костюм его был, правда, опрятен, но прост, неизящен, мешковат и старомоден. А что касается наружности, то мы уже дали ее точное описание. Щеки его не только не были румяны, но вообще невозможно было разобрать, какого они цвета, потому что до самых глаз заросли густой черной бородой. Талия, руки и ноги его были, правда, вполне пропорциональны, но по своей массивности скорее под стать дюжему пахарю, чем дворянину; плечи непомерной ширины и икры толще, чем у носильщика портшеза. Словом, вся его внешность лишена была того изящества и красоты, которые составляют прямую противоположность неуклюжей силе и так выгодно отличают наших светских джентльменов, обязанных ими отчасти благородной крови их предков, составленной из пряхных соусов и отборных вин, и отчасти раннему городскому воспитанию.

Хотя мисс Бриджет была женщина весьма разборчивая, чары капитанского обращения заставили ее совершенно пренебречь недостатками его внешности. Она полагала – и, может быть, очень мудро, – что узнает с капитаном больше приятных минут, чем с иным, гораздо кра-

сивейшим мужчиной, и пожертвовала утехой очей, чтобы обеспечить себе более существенное удовольствие.

Едва только капитан заметил страсть мисс Бриджет, проявив в этом открытии необыкновенную проницательность, как тотчас же честно ответил ей взаимностью. Почтенная дама могла похвастать красотой не больше своего поклонника. Я попробовал бы нарисовать ее портрет, если бы это уже не было сделано более искусным мастером, самим мистером Хогартом¹⁴, которому она позировала несколько лет тому назад; недавно джентльмен этот сделал ее особу достоянием публики на гравюре, изображающей зимнее утро, которого она была недурной эмблемой; там ее можно видеть идущей (так она изображена на гравюре) в Ковент-Гарденскую церковь с заморышем-пажом, несущим за ней молитвенник.

Капитан тоже разумно предпочитал преходящим телесным прелестям более существенные утехы, которые сулил ему союз с этой дамой. Он был из числа тех мудрых людей, в глазах которых женская красота является весьма маловажным и поверхностным достоинством или, говоря точнее, которые предпочитают наслаждаться всеми удобствами жизни с уродом, чем терпеть лишения с красавицей. Обладая большим аппетитом и очень неприхотливым вкусом, он полагал, что недурно справится со своей ролью на брачном пиру и без приправы красоты.

Скажем читателю начистоту: капитан с самого своего приезда или, во всяком случае, с той минуты, как брат предложил ему эту партию и задолго до открытия каких-либо лестных для себя симптомов в поведении мисс Бриджет, был уже без памяти влюблен – влюблен в дом и сады мистера Олверти, его земли, сдаваемые в аренду фермы и наследственные владения; ко всем этим предметам капитан загорелся такой пылкой страстью, что, наверное, согласился бы жениться на них, если бы даже ему пришлось взять в придачу Аэндорскую волшебницу¹⁵.

А так как мистер Олверти объявил доктору, что никогда не женится вторично, так как, далее, сестра была его ближайшей родственницей и доктор выведал, что он намерен отказать все свое имение ее детям, что, впрочем, случилось бы и без его участия, на основании закона, то доктор вместе с братом сочли делом человеколюбия даровать жизнь существу, которое в таком изобилии будет обеспечено всем необходимым для счастья. Вследствие этого все помыслы братьев сосредоточились на том, как бы снискать благосклонность любезной хозяйки.

Но Фортуна, как нежная мать, часто делающая для своих любимчиков больше, чем они заслуживают или желают, была настолько заботлива к капитану, что, пока он строил планы, каким образом достигнуть своей цели, мисс Бриджет возымела точно такие же желания и, с своей стороны, придумывала, как бы поощрить капитана, но не очень явно, ибо она строго соблюдала все правила приличия. Это ей легко удалось, так как капитан всегда был начеку, и от него не ускользнули ни один взгляд, ни один жест, ни одно слово.

Удовольствие, доставленное капитану любезностью мисс Бриджет, сильно умерялось опасениями насчет мистера Олверти, ибо, несмотря на все бескорыстие последнего, капитан думал, что когда дойдет до дела, то он последует примеру остальных людей и не согласится на брак, столь не выгодный для его сестры в материальном отношении. Какой оракул подсказал ему эту мысль, предоставляю решать читателю; но откуда бы она ни пришла, капитан был в большом затруднении, как ему вести себя, чтобы выказывать свои чувства сестре и в то же время скрывать их от брата. Наконец он решил не пропускать ни одного случая поухаживать за ней наедине, но в присутствии мистера Олверти держаться настороже и быть как можно более сдержанным. Этот план встретил полное одобрение со стороны брата.

¹⁴ *Хогарт* (1697–1764) – английский художник, друг Филдинга, известный главным образом своими сатирическими и нравоучительными гравюрами; упоминаемая здесь гравюра «Утро» входит в цикл Хогарта «Времена дня». (*Примеч. пер.*)

¹⁵ *Аэндорская волшебница*. – В Библии (Первая книга Царств, гл. 28) содержится рассказ о том, что Аэндорская волшебница, по просьбе Саула, вызвала накануне битвы с филистимлянами призрак умершего пророка Самуила, и тот предсказал Саулу поражение и смерть. (*Примеч. пер.*)

Скоро он нашел способ выразить влюбленной свои чувства в самой недвусмысленной форме и получил от нее подобающий ответ – тот ответ, который был дан впервые несколько тысяч лет тому назад и с тех пор, по преданию, переходил от матери к дочери. Если бы потребовалось прибегнуть к латыни, я передал бы его двумя словами: *Nolo episcopari*¹⁶ – изречение тоже незапамятной давности, но сделанное по другому поводу.

Как бы там ни было, капитан в совершенстве понял свою даму; он вскоре повторил свои домогательства с еще большим жаром и страстностью – и снова, по всем правилам, получил отказ; но, по мере того как желания его делались все нетерпеливее, сопротивление леди, как полагается, все более слабело.

Чтобы не утомлять читателя описанием подряд всех сцен этого сватовства (они хоть и представляют, по мнению одного великого писателя, занимательнейшее событие в жизни действующих лиц, но удручающе тоскливы и скучны для зрителей), скажу лишь, что капитан вел наступление и крепость защищалась по всем правилам искусства и наконец, тоже по всем правилам, сдалась на волю победителя.

Во время этих маневров, занявших почти целый месяц, капитан держался на очень почтительном расстоянии от леди в присутствии ее брата, и чем больше успевал в любви наедине, тем сдержаннее вел себя при других. А что касается мисс Бриджет, то, обеспечив себе поклонника, она стала выказывать к нему в обществе величайшее равнодушие, так что мистеру Олверти надо было обладать проницательностью самого дьявола (или, может быть, еще худшими его качествами), чтобы хоть смутно догадаться о том, что возле него происходит.

¹⁶ Не желаю быть епископом (*лат.*) – формула, которой католические священники обязаны троекратно отвечать на предложение церковных властей возвести их в епископский сан; только выполнив этот обряд, они могут согласиться на повышение. (*Примеч. пер.*)

Глава XII

содержащая в себе то, что читатель, может быть, и ожидает найти в ней

Во всех сговорах, идет ли речь о женитьбе, поединке или других подобных вещах, всегда требуется маленькая предварительная церемония для благополучного завершения дела, если обе стороны питают действительно серьезные намерения. Не обошлось без нее и в настоящем случае, и меньше чем через месяц капитан и его возлюбленная стали мужем и женой.

Самым щекотливым делом было теперь сообщить о случившемся мистеру Олверти. За это взялся доктор.

Однажды, когда Олверти гулял в саду, доктор подошел к нему и, придав своему лицу как можно более расстроенное выражение, сказал очень серьезным тоном:

– Я пришел известить вас, сэр, о деле чрезвычайной важности, но не знаю, как и начать; при одной мысли о нем голова идет кругом!

И он разразился жесточайшей бранью против мужчин и женщин, обвинив первых в том, что они заботятся только о своей собственной выгоде, а вторых в такой приверженности к пороку, что их нельзя без опасения доверить ни одному мужчине.

– Мог ли я предположить, – говорил он, – что столь благоразумная, рассудительная и образованная женщина даст волю неразумной страсти! Мог ли я подумать, что мой брат... Впрочем, зачем я его так называю? Он больше не брат мне!

– Отчего же? – сказал Олверти. – Он все-таки вам брат, так же как и мне.

– Боже мой, сэр! – воскликнул доктор. – Так вам уже известно про это скандальное дело?

– Видите ли, мистер Блайфил, – отвечал ему добрый сквайр, – я всю жизнь держался правила мириться со всем, что случается. Хотя сестра моя гораздо моложе меня, однако она уже в таком возрасте, что сама отвечает за свои поступки. Если бы брат ваш соблазнил ребенка, я еще призадумался бы, прежде чем простить ему; но женщина, которой за тридцать, должна же знать, что составит ее счастье. Она вышла замуж за джентльмена, может быть, и не совсем равного ей по состоянию, но если он обладает в ее глазах достоинствами, которые могут возместить этот недостаток, то мне непонятно, почему я должен противиться ее выбору; подобно сестре, я не думаю, чтобы счастье заключалось только в несметном богатстве. Правда, я не раз заявлял, что дам свое согласие почти на всякое предложение, и мог бы поэтому ожидать, что в настоящем случае спросят моего совета; но это вещи чрезвычайно деликатные, и, может быть, сестра не обратилась ко мне просто из стыдливости. А что касается вашего брата, то, право, я на него совсем не сержусь. Он ничем мне не обязан, и, мне кажется, ему вовсе не надо было спрашивать моего согласия, раз сестра моя, как я уже сказал, *sui juris*¹⁷ и в таком возрасте, что всецело отвечает за свои поступки только перед самой собою.

Доктор упрекнул мистера Олверти в слишком большой снисходительности, повторил свои обвинения против брата и заявил, что с этой минуты не желает больше видеть его и признавать за родственника. Потом он пустился расточать панегирики доброте Олверти, петь похвалы его дружбе и в заключение сказал, что никогда не простит своему брату поступка, благодаря которому он рисковал потерять эту дружбу.

Олверти так отвечал ему:

– Если бы даже я питал какое-нибудь неудовольствие против вашего брата, никогда бы я не перенес этого чувства на человека невинного; но уверяю вас, что я нисколько на него не сердит. Брат ваш кажется мне человеком рассудительным и благородным. Я не осуждаю выбора моей сестры и не сомневаюсь, что она является предметом его искреннего увлечения.

¹⁷ Полноправна (лат.).

Я постоянно считал любовь единственной основой счастья в супружеской жизни, так как она одна способна породить ту высокую и нежную дружбу, которая всегда должна быть скрепой брачного союза; по моему мнению, все браки, заключаемые по другим соображениям, просто преступны; они являются поруганием святого обряда и обыкновенно кончаются раздорами и бедствием. Ведь обращать священнейший институт брака в средство удовлетворения сластолюбия и корыстолюбия – поистине значит подвергать его поруганию; а можно ли определить иначе все эти союзы, заключаемые людьми единственно ради красивой внешности или крупного состояния?

Отрицать, что красота – приятное зрелище для глаза и даже достойна некоторого восхищения, было бы несправедливо и глупо. Эпитет «прекрасный» часто употребляется в Священном Писании, и всегда в возвышенном смысле. Мне самому выпало счастье жениться на женщине, которую свет считал красивой, и, должен признаться, я любил ее за это еще больше. Но делать красоту единственным побуждением к браку, прельщаться ею до такой степени, чтобы проглядеть из-за нее все недостатки, или требовать ее так безусловно, чтобы отвергать и презирать в человеке набожность, добродетель и ум – то есть качества по природе своей гораздо более высокие – только потому, что он не обладает изяществом внешних форм, – это, конечно, несообразно с достоинством мудрого человека и доброго христианина. И было бы слишком большой снисходительностью предполагать, что такие люди, вступая в брак, заботятся о чем-нибудь ином, кроме угождения плотской похоти; а брак, как мы знаем, установлен не для этого.

Перейдем теперь к богатству. Светская мудрость требует, конечно, до некоторой степени принимать его в расчет, и я не стану всецело и безусловно это осуждать. Свет так устроен, что семейная жизнь и заботы о потомстве требуют некоторого внимания к тому, что мы называем достатком. Но требование это сильно преувеличивают по сравнению с действительной необходимостью: безрассудство и тщеславие создают гораздо больше потребностей, чем природа. Наряды для жены и крупные средства для каждого из детей обыкновенно считаются чем-то совершенно необходимым, и ради приобретения этих благ люди пренебрегают и жертвуют благами действительно существенными и сладостными – добродетелью и религией.

Тут бывают разные степени; крайнюю из них можно едва отличить от умопомешательства: я разумею те случаи, когда люди, владеющие несметными богатствами, связывают себя брачными узами с людьми, к которым питают, и не могут не питать, отвращение, – с глупцами и негодяями, – для того чтобы увеличить состояние, и без того уже слишком крупное для удовлетворения всех их прихотей. Конечно, такие люди, если они не хотят, чтобы их сочли сумасшедшими, должны признать, что они либо не способны наслаждаться утехами нежной дружбы, либо приносят величайшее счастье, какое только могли бы испытать, в жертву суетным, переменчивым и бессмысленным законам светского мнения, которые обязаны своей властью и своим возникновением одной только глупости.

Таковыми словами заключил Олверти свою речь, которую Блайфил выслушал с глубочайшим вниманием, хотя ему стоило немалых усилий парализовать некоторое движение своих лицевых мускулов. Он принялся расхваливать каждый период этой речи с жаром молодого священника, удостоенного чести обедать с епископом в тот день, когда его преосвященство проповедовал с церковной кафедры.

Глава XIII

завершающая первую книгу и содержащая в себе пример неблагодарности, которая, мы надеемся, покажется читателю противоестественной

На основании рассказанного читатель сам может догадаться, что примирение (если только это можно назвать примирением) было делом простой формальности; поэтому мы его опустим и поскорее перейдем к вещам, несомненно, более существенным.

Доктор передал брату разговор свой с мистером Олверти и прибавил с улыбкой:

– Ну, знаешь, я тебя не пощадил! Я решительно настаивал, что ты не заслуживаешь прощения: после того как наш добрый хозяин отозвался о тебе с благосклонностью, на это можно было решиться совершенно безопасно, и я хотел как в твоих интересах, так и в своих собственных предотвратить малейшую возможность подозрения.

Капитан Блайфил не обратил никакого внимания на эти слова, но впоследствии использовал их весьма примечательно.

Одна из заповедей дьявола, оставленных им своим ученикам во время последнего посещения земли, гласит: взобравшись на высоту, выталкивай из-под ног табуретку. В переводе на общепонятный язык это означает: составивши себе счастье с помощью добрых услуг друга, отделяйся от него как можно скорее.

Руководился ли капитан этим правилом, не берусь утверждать с достоверностью; несомненно только, что его поступки прекрасно согласовались с дьявольским советом и с большим трудом могут быть объяснены какими-нибудь иными мотивами, ибо не успел он завладеть мисс Бриджет и примириться с Олверти, как начал проявлять холодность в обращении с братом, которая с каждым днем все возрастала и превратилась наконец в грубость, бросающуюся в глаза всем окружающим.

Как-то наедине доктор стал горько выговаривать ему за такое поведение, но в ответ добился только следующего недвусмысленного заявления:

– Если вам не нравится что-нибудь в доме моего шурина, милостивый государь, то никто вам не мешает его покинуть.

Эта странная, жестокая и почти непостижимая неблагодарность со стороны капитана была чрезвычайно тяжелым ударом для бедного доктора, ибо никогда неблагодарность не ранит в такой степени человеческое сердце, как в том случае, когда она исходит от людей, ради которых мы решились на неблагоприятный поступок. Мысль о добрых и благородных делах, как бы их ни принимал и как бы за них ни оплачивал человек, для пользы которого они совершены, всегда содержит в себе нечто для нас утешительное. Но где нам найти утешение в случае такого жестокого удара, как неблагодарность друга, если в то же время потревоженная совесть колет нам глаза и упрекает, зачем мы замарали себя услугой такому недостойному человеку?

Сам мистер Олверти вступился перед капитаном за доктора и пожелал узнать, в чем он провинился. Жестокосердый негодяй имел низость ответить на это, что он никогда не простит брату попытки повредить ему в мнении великодушного хозяина; по его словам, он выведал это от самого доктора и считает такой бесчеловечностью, которую простить невозможно.

Олверти стал сурово порицать капитана, назвав его поведение недостойным. Он с таким негодованием обрушился на злопамятность, что капитан в конце концов притворился убежденным его доводами и сделал вид, что примирился с братом.

Что же касается новобрачной, то она проводила еще медовый месяц и так страстно была влюблена в своего свежеспеченного мужа, что не могла себе представить его неправым, и его неприязнь к кому-либо была для нее достаточным основанием, чтобы самой относиться к этому человеку неприязненно.

Капитан, как мы сказали, сделал вид, что примирился с братом по настоянию мистера Олверти, но в сердце его осталась затаенная обида, и он так часто пользовался случаем выказывать брату с глазу на глаз свои чувства, что пребывание в доме мистера Олверти под конец стало для бедного доктора невыносимо; он предпочел лучше терпеть всякого рода неудобства, скитаясь по свету, чем сносить долее жестокие и бессердечные оскорбления от брата, для которого сделал так много.

Однажды он собрался было рассказать все Олверти, но не решился на это признание, потому что значительную часть вины ему пришлось бы взять на себя. Кроме того, чем более он очернил бы брата, тем более тяжким показался бы Олверти его собственный проступок и тем сильнее было бы, как он имел основание предполагать, негодование сквайра.

Он придумал поэтому какой-то предлог для отъезда, пообещав, что скоро вернется. Братья простились с такой искусно разыгранной сердечностью, что Олверти остался совершенно уверен в искренности их примирения.

Доктор отправился прямо в Лондон, где вскоре после этого и умер от огорчения – недуга, который убивает людей гораздо чаще, чем принято думать; этот недуг занял бы более почетное место в таблицах смертности, если бы не отличался от всех прочих болезней тем, что ни один врач не может его вылечить.

После прилежнейшего изучения прежней жизни обоих братьев я нахожу теперь, помимо упомянутого выше гнусного правила дьявольской политики, еще и другой мотив поведения капитана. Капитан, в дополнение к уже сказанному, был человек очень гордый и строптивый и всегда обращался со своим братом, человеком иного склада, совершенно чуждого этих качеств, крайне высокомерно. Между тем доктор был гораздо образованнее и, по мнению многих, умнее брата. Капитан это знал и не мог снести, ибо хотя зависть – вообще страсть весьма зловредная, однако она становится еще гораздо злее, когда к ней примешивается презрение; а если к этим двум чувствам прибавить еще сознание обязанности по отношению к презираемому, то я боюсь, что суммой этих трех слагаемых окажется не благодарность, а гнев.

Книга вторая

закрывающая в себе сцены супружеского счастья в разные периоды жизни, а также другие происшествия в продолжение первых двух лет после женитьбы капитана Блайфила на мисс Бриджет Олверти

Глава I

показывающая, какого рода эта история, на что она похожа и на что не похожа

Хотя мы довольно справедливо назвали наше произведение историей, а не жизнеописанием и не апологией чьей-либо жизни, как теперь в обычае, но намерены держаться в нем скорее метода тех писателей, которые занимаются изображением революционных переворотов, чем подражать трудолюбивому плодовитому историку, который для сохранения равномерности своих выпусков считает себя обязанным истреблять столько же бумаги на подробное описание месяцев и лет, не ознаменованных никакими замечательными событиями, сколько он уделяет ее на те достопримечательные эпохи, когда на подмостках мировой истории разыгрывались величайшие драмы.

Такие исторические исследования очень смахивают на газету, которая – есть ли новости или нет – всегда состоит из одинакового числа слов. Их можно сравнить также с почтовой каретой, которая – полная ли она или пустая – постоянно совершает один и тот же путь. Автор их считает себя обязанным идти в ногу с временем и писать под его диктовку; подобно своему господину – времени, он передвигается с ним по столетиям монашеского тупоумия, когда мир пребывал точно в спячке, столь же неторопливо, как и по блестящей, полной жизни эпохе, так великолепно обрисованной прекрасным латинским поэтом:

Ad confligendum venientibus undique Poenis,
Omnia cum belli trepido concussa tumultu
Horrida contremueie sub altis aetheris oris,
In dubioque fuere utrorum ad regna cadendum
Omnibus humanis esset terraque marique¹⁸.

То есть:

При нападении войск отовсюду стекавшихся пунов,
В те времена, когда мир, потрясаемый громом сражений,
Весь трепетал и дрожал под высокими сводами неба,
И сомневались все человеки, какому народу
Выпадут власть над людьми и господство на суше и море.

Мы намерены придерживаться на этих страницах противоположного метода. Если встретится какая-нибудь необыкновенная сцена (а мы рассчитываем, что это будет случаться нередко), мы не пожалеем ни трудов, ни бумаги на подробное ее описание читателю; но если целые годы будут проходить, не создавая ничего достойного его внимания, мы не побоимся пустот в нашей истории, но поспешим перейти к материям значительным, оставив такие периоды совершенно неисследованными.

Эти периоды надо рассматривать как пустышки в великой лотерее времени, и мы, ее протоколисты, последуем примеру тех рассудительных господ, которые обслуживают лотерею, устраиваемую в Гильдхолле¹⁹, и никогда не беспокоят публику объявлением многочисленных пустых номеров; но как только выпадет крупный выигрыш, газеты мгновенно наполняются этой новостью, и всему свету сообщается, в чьей конторе был куплен счастливый билет; обык-

¹⁸ *Ad confligendum...* – Лукреций, «О природе вещей» (III, 833–837), перевод Ф. А. Петровского. (Примеч. пер.)

¹⁹ *Гильдхолл* — лондонская ратуша. (Примеч. пер.)

новенно даже на честь обладания им притязают два или три учреждения сразу, желая, должно быть, убедить искателей счастья, что некоторые комиссионеры посвящены в таинства Фортуны и состоят ее приближенными советниками.

Пусть же не удивляется читатель, если он найдет в этом произведении и очень короткие, и очень длинные главы – главы, заключающие в себе один только день, и главы, охватывающие целые годы, – если, словом, моя история иногда будет останавливаться, а иногда мчаться вперед. Я не считаю себя обязанным отвечать за это перед каким бы то ни было критическим судилищем: я творец новой области в литературе и, следовательно, волен дать ей какие угодно законы. И читатели, которых я считаю моими подданными, обязаны верить им и повиноваться; а чтобы они делали это весело и охотно, я ручаюсь им, что во всех своих мероприятиях буду считаться главным образом с их довольством и выгодой; ибо я не смотрю на них, подобно тирану, *jure divino*²⁰, как на своих рабов или свою собственность. Я поставлен над ними только для их блага, я сотворен для них, а не они для меня. И я не сомневаюсь, что, сделав их интерес главной заботой своих сочинений, я встречу у них единодушную поддержку моему достоинству и получу от них все почести, каких заслуживаю или желаю.

²⁰ По божественному праву (*лат.*).

Глава II

Библейские тексты, возбуждающие слишком большую благосклонность к незаконным детям, и великое открытие, сделанное миссис Деборой Вилкинс

Через восемь месяцев после отпразднования свадьбы капитана Блайфила и мисс Бриджет Олверти – дамы прекрасной собой, богатой и достойной, – миссис Бриджет, по случаю испуга, разрешилась хорошеньким мальчиком. Младенец был, по всей видимости, вполне развит, только повивальная бабка заметила, что он родился на месяц раньше положенного срока.

Хотя рождение наследника у любимой сестры очень порадовало мистера Олверти, однако оно несколько не охладило его привязанности к найденышу, которого он был крестным отцом, которому дал свое имя Томас и которого аккуратно навещал, по крайней мере, раз в день, в его детской.

Он предложил сестре воспитывать ее новорожденного сына вместе с маленьким Томми, на что она согласилась, хотя и с некоторой неохотой; ее готовность угождать брату была поистине велика, и потому она всегда обращалась с найденышем ласковее, чем иные дамы строгих правил, подчас неспособные проявить доброту к таким детям, которых, несмотря на их невинность, можно по справедливости назвать живыми памятниками невоздержания.

Но капитан не мог так легко примириться с тем, что он осуждал как ошибку со стороны мистера Олверти. Он неоднократно намекал ему, что усыновлять плоды греха – значит потворствовать греху. В подтверждение он приводил много текстов (ибо был начитан в Священном Писании), как, например: «*Карает на детях грехи отцов*» или: «*Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина*», и т. п. Отсюда он доказывал справедливость наказания внебрачных детей за проступок родителей. Он говорил, что хотя закон и не разрешает уничтожать таких детей низкого происхождения, но признает их за ничьих; что Церковь рассматривает их как детей, не имеющих родителей, и что в лучшем случае их следует воспитывать для самых низких и презренных должностей в государстве.

Мистер Олверти отвечал на это и на многое, высказанное капитаном по тому же поводу, что, как бы ни были преступны родители, дети их, конечно, невинны; а что касается приведенных текстов, то первый является угрозой, направленной исключительно против евреев за то, что они впали в грех идолопоклонства, покинули и возненавидели своего небесного царя; последний же имеет иносказательный смысл и скорее указывает несомненные и неминуемые последствия греха, чем имеет в виду определенное осуждение его. Но представлять себе, что всемогущий отмщает чьи-либо грехи на невинном, непристойно и даже кощунственно, равно как и представлять его действующим вопреки основам естественной справедливости и вопреки изначальным понятиям о добре и зле, которые сам же он насадил в наших умах, чтобы с их помощью мы судили не только о предметах, данных нам в опыте, но даже об истинах откровения. Он прибавил, что знает многих, разделяющих мнение капитана по этому поводу, но сам он твердо убежден в противном и будет заботиться об этом бедном ребенке совершенно так же, как о законном сыне, которому выпало бы счастье находиться на его месте.

В то время как капитан при всяком случае пускал в ход эти и подобные им доводы с целью охладить к найденышу мистера Олверти, которого он начал ревновать за доброту к нему, миссис Дебора сделала открытие, грозившее гораздо более роковыми последствиями для бедного Томми, чем все рассуждения капитана.

Привело ли добрую женщину к этому открытию ее ненасытное любопытство, или же она сделала его с намерением упредить благорасположение к себе миссис Блайфил, которая, несмотря на показную заботливость о найденыше, наедине нередко бранила ребенка, а заодно

с ним и брата за привязанность к нему, – этого я не берусь решить; только миссис Дебора была теперь совершенно убеждена, что ей удалось обнаружить отца сиротки.

Так как открытие это чрезвычайно важно, то необходимо подойти к нему исподволь. Поэтому мы самым подробным образом изложим подготовившие его обстоятельства, и с этой целью нам придется разоблачить все тайны одного маленького семейства, еще совершенно не знакомого читателю, в котором существовали такие редкие и диковинные порядки, что, боюсь, они покажутся неправдоподобными многим женатым лицам.

Глава III

Описание домашнего строя, основанного на правилах, диаметрально противоположных аристотелевским

Пусть читатель благоволит припомнить, что Дженни Джонс, как мы выше сообщали, жила несколько лет у некоего школьного учителя, по настойчивой ее просьбе обучившего ее латыни, в каковой, нужно отдать справедливость ее способностям, она настолько преуспела, что сделалась ученею своего наставника.

Действительно, хотя этот бедняк взялся за дело, необходимо требующее познаний, однако менее всего мог ими похвалиться. Это был добродушнейший человек на свете и в то же время такой мастер по части шуток и юмора, что прослыл за первого остряка в околотке. Все соседние дворяне приглашали его наперебой; и так как он не владел талантом отказывать, то проводил у них много времени, которое с большей пользой мог бы провести у себя в школе.

Совершенно очевидно, что джентльмен с такими познаниями в наклонностях не представлял особенно грозной опасности для учебных заведений в Итоне и Вестминстере²¹. Говоря прямо, все его ученики разделялись на два класса: в старшем сидел сын соседнего сквайра, в семнадцать лет только что добравшийся до синтаксиса, а в младшем – другой сын того же джентльмена, обучавшийся чтению и письму вместе с семью деревенскими мальчиками.

Получаемая за это плата вряд ли позволила бы нашему учителю роскошествовать, если бы обязанности педагога он не совмещал с должностью пономаря и цирюльника и если бы мистер Олверти не выплачивал ему ежегодного пособия в размере десяти фунтов, которое бедняк исправно получал к Рождеству и мог, таким образом, повеселить свою душу на Святках.

В числе других сокровищ педагог обладал женой, которую взял с кухни мистера Олверти за приданое в двадцать фунтов, прикопленных ею на барской службе.

Эта женщина не отличалась особенной миловидностью. Позировала она моему другу Хогарту или нет, я не берусь сказать, Только она как две капли воды похожа была на молодую женщину, наливающую чай своей госпоже, изображенную на третьем листе серии «Путь прелестницы»²². Она была, кроме того, убежденнейшей последовательницей благородной секты, основанной в древности Ксантиппой, и вследствие этого сделалась большей грозой для школы, чем ее муж, который, сказать правду, в ее присутствии не чувствовал себя хозяином ни в школе, ни где-либо в другом месте.

Наружность ее вообще не говорила о большой нежности нрава, но ее, может быть, еще больше ожесточило обстоятельство, обыкновенно отравляющее семейное счастье. Детей недаром называют залогом любви, а муж ее, несмотря на девять лет супружества, не подарил ей ни одного такого залога – упущение, совершенно для него не простительное ни по возрасту, ни по состоянию здоровья, ибо ему не исполнилось еще тридцать лет, и был он, что называется, славный малый и весельчак.

Отсюда проистекало другое зло, не менее стеснительное для бедного педагога: супруга ревновала его столь неустанно, что он не смел заговорить почти ни с одной женщиной в приходе, ибо малейшая вежливость или даже простое обращение к женщине неминуемо навлекали грозу и на него и на соперницу.

Чтобы предохранить себя от супружеской неверности в собственном доме, она всегда старалась, нанимая служанку, выбирать ее из того разряда женщин, наружность которых слу-

²¹ Учебные заведения в Итоне и Вестминстере – старинные английские аристократические школы; основаны в XV и XVI веках. В первой из них учился Филдинг. (Примеч. пер.)

²² «Путь прелестницы» — серия гравюр Хогарта. (Примеч. пер.)

жит известной порукой их добродетели; к числу их, как уже знает читатель, принадлежала и Дженни Джонс.

Так как лицо этой девушки можно было считать прекрасной порукой упомянутого рода, так как ее поведение всегда отличалось отменной скромностью – верное свидетельство ума в женщине, – то она прожила больше четырех лет у мистера Партриджа (так звали учителя), не возбудив ни малейшего подозрения в своей хозяйке. Больше того: обращение с ней было необыкновенно любезное, и миссис Партридж сама позволила мужу давать ей упомянутые выше уроки.

Но ревность – та же подагра: если эти недуги в крови, никогда нельзя быть уверенным, что они не разразятся вдруг, и часто это случается по ничтожнейшим поводам, когда меньше всего этого ожидаешь.

Так случилось и с миссис Партридж, которая в течение четырех лет позволяла мужу давать уроки молодой девушке и часто прощала ей неисправность в работе, когда она происходила от прилежного учения. Однажды, зайдя в классную, миссис Партридж застала девушку за книгой, а учителя – наклонившимся над ней; не знаю, по какой причине, Дженни вдруг вскочила со стула, – и это впервые заронило подозрение в душу ее хозяйки.

Однако в ту минуту оно не проявилось наружу, а залегло в сердце, как неприятель в засаде, ждущий подкрепления, чтобы выйти в открытое поле и приступить к военным действиям. Такое подкрепление вскоре и подоспело на подмогу ее подозрительности. Немного времени спустя, за супружеским обедом, хозяин сказал служанке: «*Da mihi aliquid potum*»²³. Бедная девушка улыбнулась в ответ – может быть, плохой латыни, а когда хозяйка вскинула на нее очи, покраснела – вероятно, от конфуза, что посмеялась над хозяином. Миссис Партридж мгновенно пришла в бешенство и пустила тарелкой в бедную Дженни, закричав:

– Ах ты, бесстыдница!.. Перемигиваться при мне с моим мужем?

И с этими словами она сорвалась со стула с ножом в руках, который, по всей вероятности, послужил бы ей орудием трагической мести, если бы Дженни не стояла, по счастью, ближе к двери и не спаслась бегством от разъяренной хозяйки. Что же касается бедного мужа, то удивление лишило его способности двигаться, или же (что весьма вероятно) страх удержал от всякой попытки к сопротивлению, только он остался на месте, выпучив глаза и дрожа всем телом; так он просидел, не шевелясь и не произнося ни одного слова, пока возвращение жены, пустившейся в погоню за Дженни, не заставило его принять необходимые меры для собственной безопасности, и он вынужден был, в свою очередь, по примеру служанки, обратиться в бегство.

Эта добрая женщина, не больше чем Отелло, была расположена

...ревностью жить
И прибыль каждую луны и убыль
Встречать все новым подозреньем...²⁴

Для нее, как и для мавра, —

...сомненье
С решимостью бывало неразлучно, —

и поэтому она приказала Дженни сию же минуту складывать свои пожитки и убраться вон, не допуская мысли, чтобы девушка провела еще хоть одну ночь в ее доме.

²³ Дай мне чего-нибудь выпить (*лат.*).

²⁴ ...ревностию жить... – цитата из «Отелло» Шекспира (действие III, сцена 3). (*Примеч. пер.*)

Мистер Партридж был слишком научен опытом не вмешиваться в дела такого рода. Ему осталось только прибегнуть к обычному своему рецепту терпения, ибо, не будучи большим знатоком латыни, он все же помнил и хорошо понимал совет, заключающийся в словах:

...leve fit, quod bene fertur onus...²⁵ —

то есть: «груз делается легким, когда несешь его с умением». Это правило он всегда держал на языке и, сказать правду, часто имел случай убедиться в его истине.

Дженни попробовала было торжественно поклясться, что ни в чем не повинна, но буря была слишком сильна, и девушку не стали слушать. Волей-неволей ей пришлось заняться укладыванием своего добра, которое уместилось в нескольких листках оберточной бумаги, и Дженни, получив свое скудное жалованье, вернулась домой.

Учитель и супруга его провели этот вечер довольно невесело; но ночью что-то такое случилось, отчего к утру бешенство миссис Партридж немного поутихло; в конце концов она дозволила мужу принести ей извинения, которым поверила тем охотнее, что учитель не стал просить о возвращении Дженни, а, напротив, был очень доволен тем, что она уволена, заметив, что служанка она теперь бесполезная, так как вечно сидит за книгами, да еще сделалась дерзкой и упрямой. Действительно, в последнее время она часто вступала со своим наставником в литературные споры, сделавшись, как уже было сказано, гораздо ученее этого наставника. Он, однако, ни за что не хотел это признать и, приписав приверженность Дженни правильным взглядам ее упрямству, возненавидел ее с немалым ожесточением.

²⁵ ...leve fit... – Овидий, «Любовные элегии» (I, 2, 10). (Примеч. пер.)

Глава IV

содержащая описание одной из кровопролитнейших битв, или, вернее, поединков, какие известны в хрониках семейной жизни

По причинам, указанным в предыдущей главе, и вследствие некоторых других супружеских уступок, хорошо известных большинству мужей, но, подобно масонским тайнам, не подлежащих разглашению среди не-членов этого почтенного братства, миссис Партридж вполне убедилась в несправедливости своих подозрений насчет мужа и постаралась загладить свою ошибку ласковостью. Страсти ее были одинаково бурными, какое бы направление они ни принимали: если гнев ее не знал меры, то не было пределов и ее нежности.

Хотя эти страсти обыкновенно чередовались между собой в педагогу редко выпадали сутки, когда он не испытывал бы на себе в некоторой степени и той и другой, однако в исключительных случаях, когда гнев бушевал слишком сильно, послабление бывало более продолжительным. Так дело обстояло и теперь: по окончании припадка ревности миссис Партридж пребывала в состоянии благосклонности гораздо дольше, чем это случалось с ней когда-либо раньше, и не будь некоторых маленьких упражнений, которые всем последовательницам Ксантиссы приходится проделывать ежедневно, мистер Партридж в течение нескольких месяцев наслаждался бы безмятежным спокойствием.

Полная тишина на море считается опытными моряками предвестницей бури, и я знаю людей, которые, будучи вовсе не суеверны, склоняются к мысли, что долгий и необыкновенный мир всегда сменяется распрями. По этой причине древние в таких случаях приносили жертвы Немезиде – богине, взирающей, по их мнению, завистливым оком на людское счастье и находящей особенное наслаждение разрушать его.

Будучи весьма далеки от веры в эту языческую богиню и не желая поощрять никаких суеверий, мы были бы рады, если бы мистер Джон Фр...²⁶ или другой подобный ему философ потрудились бы немного над отысканием истинной причины этих внезапных переходов от благополучия к несчастью, так часто наблюдающихся в жизни. Мы тоже приведем такой пример, ибо наше дело – излагать факты, а рассуждать о причинах предоставим умам более высокого полета.

Люди всегда находили большое удовольствие в том, чтобы разузнавать чужие дела и толковать о них. Вследствие этого во все времена и у всех народов существовали особые места для общественных сборищ, где любопытные могли встречаться и удовлетворять свое любопытство. Среди них цирюльни по справедливости занимали выдающееся место. «Новости цирюльни» вошли у греков в пословицу, а Гораций в одном из своих посланий делает и о римских цирюльниках почетное упоминание в этом смысле.

Английские брадобреи ничуть не уступают своим греческим и римским предшественникам. Иностранные дела обсуждаются у них почти с таким же важным видом, как и в кофейнях, а события отечественные – гораздо пространнее и непринужденнее. Но эти заведения служат только для мужчин; а так как и наши соотечественницы, особенно из низших классов, любят собраться и потолковать гораздо больше всех иноплеменниц, то английский общественный строй обладал бы большим недочетом, если бы и они не располагали таким местом, где могли бы удовлетворять свое любопытство, принимая во внимание, что в этом качестве слабый пол ничуть не уступает сильной половине человеческого рода.

²⁶ Джон Фр... – Джон Фрик (1688–1756), известный лондонский хирург, занимавшийся психологией и физикой. (Примеч. пер.)

Итак, в отношении места, где они могли бы собираться, британских дам нужно считать счастливее их иноплеменных сестер, ибо, насколько я припоминаю, мне не случилось ни читать в истории, ни наблюдать во время путешествий ничего подобного.

Означенное место является не чем иным, как мелочной лавкой; там можно узнать все новости; в каждом английском приходе там собираются кумушки, вульгарно выражаясь, посплетничать.

Попав однажды в такое сборище женщин, миссис Партридж была спрошена одной из своих соседок, не слышала ли она чего-нибудь новенького о Дженни Джонс. На ее отрицательный ответ спрашивавшая заметила с улыбкой, что приход очень обязан миссис Партридж за то, что она выгнала вон Дженни.

Миссис Партридж, как известно читателю, уже давно излечившаяся от ревности и не имевшая других поводов к неудовольствию на свою служанку, развязно отвечала, что не понимает, за что тут быть обязанным: ведь другой такой девушки, как Дженни, пожалуй, и нет в приходе.

– Будем надеяться, что нет, – сказала кумушка, – хоть и довольно у нас всякой дряни. Так вы, видно, не слышали, что она разрешилась двойней? Впрочем, она родила их не здесь, поэтому муж мой и другой наш надзиратель за призреваемыми говорят, что мы не обязаны их воспитывать.

– Двойней! – с жаром воскликнула миссис Партридж. – Вы меня огорошили! Не знаю, обязаны ли мы их воспитывать, но я уверена, что они произведены здесь: ведь нет еще девяти месяцев, как девчонка ушла отсюда.

Ничто не может сравниться с быстротой и внезапностью операций ума, особенно когда его приводит в действие ревность со своими помощницами – надеждой и страхом. Миссис Партридж мигом припомнила, что, живя в ее доме, Дженни почти никуда не отлучалась. Наклонившийся над стулом муж, быстрота, с какой девушка вскочила с места, лагерь, улыбка и многие другие вещи разом пришли ей в голову. Удовольствие мужа по случаю ухода Дженни показалось ей теперь притворным и в то же время искренним, проистекавшим от пресыщения и сотни других дурных причин, что только пуще разогревало ее ревность. Словом, теперь она была уверена в виновности своего мужа и немедленно, в большой тревоге, покинула собрание.

Хотя домашняя кошка – и младшая в кошачьей породе, но она по свирепости не уступает старшим линиям своего семейства и, будучи гораздо слабее благородного тигра, равняется с ним в кровожадности; когда маленькая, измученная ею для забавы мышь на время ускользает от ее когтей, она беснуется, мяукает, ворчит, брюзжит и, если отодвинуть ящик или сундук, за которым спряталась мышка, как молния, бросается на свою добычу и с дикой яростью кусает, царапает, мнет и терзает бедного зверька.

С не меньшим бешенством ринулась миссис Партридж на бедного педагога, обрушив на него сразу и язык, и зубы, и руки. Парик мгновенно был сорван с его головы, рубашка – с плеч, и по лицу несчастного потекли пять кровавых ручьев – по числу когтей, которыми природа, по несчастью, вооружила неприятеля.

Мистер Партридж придерживался некоторое время чисто оборонительной тактики, стараясь только прикрыть руками лицо; но, видя, что ярость противника не утихает, он рассудил, что вправе наконец попробовать обезоружить его, то есть придержать его руки. В последовавшей схватке чепчик слетел с головы миссис Партридж, короткие, не достававшие до плеч волосы встали дыбом, корсет, зашнурованный только на одну нижнюю петлю, расстегнулся, и груди, гораздо более обильные, чем волосы, свесились ниже пояса; лицо ее было запачкано кровью мужа, зубы скрежетали от бешенства, и глаза метали огонь, как из кузнечного горна. Словом, эта воинственная амазонка привела бы в трепет и человека похрабрее мистера Партриджа.

Наконец бедняге посчастливилось овладеть ее руками и лишить таким образом оружия, которое она носила на кончиках пальцев; как только это случилось, так тотчас мягкость, свой-

ственная ее полу, взяла в ней верх над бешенством: в ту же минуту она залилась слезами, а слезы кончились обмороком.

Небольшая доля самообладания, еще остававшаяся у мистера Партриджа во время этой дикой сцены, причины которой ему были непонятны, теперь окончательно покинула его. Он опрометью выбежал на улицу с криком, что жена его при смерти, и умолял соседей поспешить поскорее к ней на помощь. Несколько добрых женщин вняли его мольбам, вошли в дом и, употребив обычные в таких случаях средства, привели в конце концов миссис Партридж в чувство, к великой радости ее мужа.

Едва только супруга, выпив успокоительного, немного пришла в себя, как начала выкладывать присутствующим многочисленные оскорбления, нанесенные ей мужем; изменник, жаловалась она, не только оскорбил ее супружеское ложе, но еще и обошелся с ней самым бесчеловечным образом, когда она его за это упрекнула: сорвал с нее чепчик и корсет, оттащил за волосы да вдобавок отколотил так, что знаки от побоев она унесет с собой в могилу.

Бедный муж, носивший на лице гораздо явственнейшие следы супружеского гнева, онемел от изумления при этом обвинении, столь мало согласном, как, надеюсь, засвидетельствует читатель, с истиной: ведь он ни разу не ударил ее. Его молчание было истолковано собравшимися женщинами как публичное признание, и все они разом стали, а *una voce*²⁷, упрекать и бранить его, приговаривая, что только подлецы способны бить женщину.

Мистер Партридж сносил все это терпеливо; но когда жена призвала кровь на лице своем в свидетели его бесчеловечности, он не выдержал и заявил о своих правах на эту кровь, которая действительно принадлежала ему; бедняге показалось слишком противоестественным, чтобы она восстала мстительницей против него, как кровь убитого против убийцы.

Женщины ответили только: как жаль, что это кровь из его лица, а не из самого сердца, и объявили в один голос, что, если их мужья посмеют поднять на них руку, они выпустят им всю кровь из жил.

После многих замечаний по поводу случившегося и множества добрых советов мистеру Партриджу насчет его будущего поведения общество наконец разошлось, оставив мужа наедине с женой, из беседы с которой мистер Партридж скоро узнал причину своих страданий.

²⁷ В один голос (*итал.*).

Глава V

в которой читателю есть что обсудить и над чем поразмыслить

Я считаю справедливым замечание, что тайна редко бывает достоянием только одного лица; но было бы почти чудом, если бы происшествие, подобное описанному, сделавшись известным целому приходу, не получило дальнейшей огласки.

И действительно, не прошло и нескольких дней, как во всем околотке, употребляя образное выражение, затрезвонили о зверском избиении жены учителем из Литтл-Баддингтона. В иных местах передавали даже, что он ее убил, в других – что он переломал ей руки, в третьих – ноги. Словом, послушать эти толки, так миссис Партридж получила от мужа едва ли не все увечья, какие только можно нанести человеческому телу.

О причине этой ссоры рассказывали тоже различно; если, по словам некоторых, миссис Партридж застала мужа в кровати со служанкой, то ходили и совсем другие слухи. Некоторые переносили даже вину на супругу, а ревность приписывали мужу.

Миссис Вилкинс давно уже слышала об этой ссоре; но так как до слуха ее дошла версия, далекая от истины, то она сочла благоразумным молчать о ней, – главным образом потому, может быть, что все порицали мистера Партриджа; между тем его жена, еще будучи служанкой у мистера Олверти, чем-то оскорбила миссис Вилкинс, которая была не очень расположена прощать подобные вещи.

Но миссис Вилкинс обладала острым зрением и заглядывала на несколько лет вперед; она чувствовала, что со временем ее хозяином, по всей вероятности, станет капитан Блайфил. Видя же его нерасположение к найденнышу, она вообразила, что окажет капитану приятную услугу, если ей удастся сделать какие-нибудь открытия, способные охладить привязанность мистера Олверти к этому ребенку, доставлявшую настолько явное неудовольствие капитану, что он не мог его скрывать даже в присутствии самого Олверти, хотя миссис Блайфил, игравшая свою роль при посторонних гораздо искуснее, часто ставила в пример мужу свое угождение причуде брата, которую, по ее словам, видела и осуждала ничуть не меньше других.

Вот почему миссис Вилкинс, получив случайно, хоть и с большим запозданием, правильные сведения о ссоре учителя с женой, не замедлила разузнать досконально все подробности и доложила капитану, что ей удалось наконец открыть настоящего отца подкидыша; при этом она посетовала на слабость своего хозяина, который, говорила она, только роняет себя в мнении околотка, окружая такой заботливостью незаконного ребенка.

Капитан побранил ее за эти заключительные слова, сказав, что слугам не пристало судить о поступках своих господ. Если бы даже чувство чести и разум позволили ему вступить в союз с миссис Вилкинс, то гордость ни за что бы этого не допустила. И по правде говоря, нет ничего опрометчивее входить в заговор со слугами вашего друга против их хозяина, потому что таким образом вы становитесь рабом этих самых слуг, способных в любую минуту предать вас. Это соображение, должно быть, и удержало капитана Блайфила от излишней откровенности с миссис Вилкинс и не позволило ему поощрить ее критику поступков Олверти.

Однако, не выразив миссис Вилкинс никакого удовольствия по случаю этого открытия, он внутренне немало ему порадовался и решил извлечь из него как можно больше выгоды.

Долго хранил он новость в тайне, надеясь, что мистер Олверти узнает ее от кого-нибудь другого; однако миссис Вилкинс, не то обидевшись на капитана, не то не поняв его тактики и боясь, что ее открытие действительно ему не понравилось, не проронила больше о нем ни слова.

Поразмыслив, я нахожу несколько странным, что домоправительница не поделилась своей новостью с миссис Блайфил, несмотря на то что женщины делятся новостями друг с дру-

гом гораздо охотнее, чем с нами. Единственным, как мне кажется, объяснением этой загадки может служить отчужденность, установившаяся с некоторых пор между барыней и экономкой. Может быть, миссис Блайфил была недовольна слишком большим вниманием Вилкинса к найденнышу, ибо, стараясь вредить ребенку с целью снискать себе расположение капитана, Дебора в то же время с каждым днем все больше расхваливала его перед Олверти, потому что любовь к нему сквайра с каждым днем возрастала. Это обстоятельство, вопреки всем стараниям экономки выказывать перед миссис Блайфил прямо противоположные чувства, должно было, оскорбляло щепетильную барыню, положительно возненавидевшую миссис Вилкинса. Хотя она и не отказала ей от должности, может быть, потому, что не могла этого сделать, однако находила множество способов отравлять ей существование. В конце концов это до того озлобило миссис Вилкинса, что, в пику своей барыне, она стала обращаться с маленьким Томми с подчеркнутым уважением и нежностью.

Капитан, видя, что история таким образом, пожалуй, заглохнет, воспользовался наконец удобным случаем и рассказал ее сам.

Однажды зашел у него с мистером Олверти разговор о милосердии; капитан с большим знанием дела доказывал мистеру Олверти, что в Священном Писании слово «милосердие» нигде не обозначает благотворительности или щедрости.

– Христианская религия, – говорил он, – установлена для целей более высоких, чем утверждение истин, задолго до нее преподаваемых многими языческими философами; истины эти, может быть, и достойны названия нравственных добродетелей, но еще весьма далеки от того возвышенного христианского умонастроения, того воспарения мысли, по чистоте своей приближающегося к ангельскому совершенству, которое достигается, выражается и испытывается только силой благодати. Те ближе подошли к смыслу Священного Писания, – говорил он, – которые понимают под милосердием чистосердечие, благожелательное мнение о наших братьях и снисходительное суждение об их поступках – добродетель, более высокую и более объемлющую по своей природе, чем жалкое раздавание милостыни, которое, хотя бы мы разорились и пустили по миру свои семьи, никогда не может коснуться многих, тогда как в ином и более истинном значении милосердие может объять все человечество.

– Принимая во внимание, – говорил он, – кто такие были апостолы, нелепо предполагать, будто им было преподаано правило щедрости или раздавания милостыни. Но если мы не можем представить себе, чтобы такое правило было преподаано божественным нашим учителем людям, которые не могли применить его на деле, то тем более у нас нет оснований думать, чтобы его понимали таким образом те, которые могут применять его и не применяют.

– Но хотя в таких добрых делах, – продолжал он, – боюсь я, и нет большой заслуги, однако должен признать, что они могли бы доставить доброму сердцу большое наслаждение, если бы его не отравляло то обстоятельство, что мы легко подвержены обману и часто оказываем лучшие наши благодеяния недостойным, как, признайтесь, случилось и с вами: этот низкий человек Партридж совсем не заслуживал вашей щедрости. Два-три таких примера должны сильно уменьшить внутреннее удовольствие, которое находит добрый человек в делах благотворительности, и даже внушить ему страх, как бы не оказаться виновным в попустительстве пороку и поощрении людей пропащих; преступление это очень тяжелое и ни в коем случае не может быть оправдано тем, что у нас и в мыслях не было заниматься таким попустительством, – разве только при выборе предметов для нашей благотворительности мы соблюдали сугубую осторожность. Я не сомневаюсь, что это соображение сильно умеряло щедрость многих достойных и благочестивых людей.

Мистер Олверти отвечал капитану, что он не может состязаться с ним в знании греческого языка и потому ничего не может сказать насчет истинного значения слова, переведенного как «милосердие», но он всегда считал, что сущность его состоит в делах и что подавание милостыни составляет, по крайней мере, одну ветвь этой добродетели.

Что же касается вопроса о заслуге, то он охотно соглашается с капитаном; ибо какая заслуга в простом исполнении долга? А долг этот, как ни толковать слово «милосердие», достаточно ясно вытекает из всего духа Нового завета. Таким образом, он необходимо предписывается и христианскими законами, и законами самой природы; и при этом исполнение его настолько приятно, что если о каком-нибудь долге можно сказать, что он сам себе награда, то таким долгом является именно благотворение.

– Необходимо, однако, признать, – продолжал он, – что есть один род щедрости (я бы назвал его милосердием), которому действительно присуща некоторая видимость заслуги: именно когда мы из доброжелательности и христианской любви отдаем другому то, в чем сами нуждаемся, когда для облегчения несчастий ближнего соглашаемся часть их взять на себя, отказываясь в его пользу от таких вещей, без которых нам самим очень трудно обойтись. В этом, мне кажется, есть заслуга; а облегчать положение наших братьев только от избытка, быть милосердным (приходится употребить это слово) скорее за счет своей казны, чем себя самих, спасти несколько семейств от нищеты ценой отказа от приобретения редкой картины или удовлетворения иного суетного желания – это значит не больше, чем быть человеком. Я решусь даже сказать: это значит быть в некоторой мере эпикурейцем; ибо может ли величайший эпикуреец пожелать чего-либо большего, как есть многими ртами вместо одного? А так именно, по-моему, следует сказать о человеке, знающем, что многие обязаны хлебом насущным его щедрости.

Что же касается опасности облагодетельствовать человека, который впоследствии может оказаться недостойным, как это нередко случается, то, конечно, она не способна удержать благотворителя от свершения добрых дел. Я не допускаю, чтобы несколько и даже много примеров неблагодарности могли оправдать бесчувственность состоятельного человека к горю ближних, и не верю, чтобы они могли оказать подобное действие на истинно милосердное сердце. Только убеждение во всеобщей порочности могло бы удержать человека отзывчивого; и такое убеждение должно привести его, мне кажется, или к атеизму, или к фанатизму. Однако недопустимо заключать о всеобщей порочности из факта существования небольшого числа порочных лиц, и я уверен, что такого вывода никогда не сделает тот, кто, исследуя собственное сердце, находит в нем явное исключение из этого общего правила.

В заключение мистер Олверти спросил, кто такой этот Партридж, которого капитан назвал низким человеком.

– Я имею в виду, – отвечал капитан, – Партриджа – цирюльника, учителя... и не знаю, кем он еще состоит. Партриджа – отца ребенка, которого вы нашли в своей постели.

Мистер Олверти выразил большое удивление при этом известии, а капитан – не меньшее удивление, что его шурина этого не знал: он сказал, что новость известна ему уже более месяца, и припомнил, правда, с большим трудом, что ее сообщила ему миссис Вилкинс.

Вилкинс была немедленно призвана и после подтверждения ею сказанного капитаном, отправлена мистером Олверти, по совету капитана, в Литтл-Баддингтон – разузнать, правда ли все это, ибо капитан объявил себя противником всякой поспешности в уголовных делах, сказав, что ни в коем случае не желает подсказывать мистеру Олверти решение, неблагоприятное для ребенка или его отца, не удостоверившись предварительно в виновности последнего; хотя сам он втайне был убежден показаниями одного соседа Партриджа, но великодушные не позволили ему сообщать такие улики мистеру Олверти.

Глава VI

Процесс Партриджа, школьного учителя, по обвинению его в распутстве; показание его жены, краткое размышление о мудрости наших законов и много иных важных материй, которые больше всего понравятся людям, наилучшим образом в них смыслящим

Может показаться удивительным, что такая всем известная история, давшая столько материала для разговоров, не дошла до сих пор до мистера Олверти и что он являлся, должно быть, единственным человеком в околотке, никогда о ней не слышавшим.

Чтобы до некоторой степени объяснить читателю такую странность, я считаю долгом сообщить ему, что никто в целом королевстве не был больше мистера Олверти далек от мысли поступать против учения о милосердии – в том смысле этого слова, как было рассмотрено в предыдущей главе. Действительно, он практиковал эту добродетель и в положительном и в отрицательном ее значении: никто не был более отзывчив к нужде и более готов помочь другому в несчастье, никто не относился деликатнее к чужой репутации и недоверчивее – к разным невыгодным для нее слухам.

Поэтому злословие не имело доступа к его столу. Давно уже замечено, что человека можно узнать по его приятелям; я же беру на себя смелость утверждать, что из разговора за столом знатного человека можно узнать о его религиозности, политических убеждениях, вкусах и вообще всех наклонностях; ибо хотя я есть такие чудачки, которые везде будут высказывать свой образ мыслей, но у большинства людей достаточно силен инстинкт угодничества, для того чтобы сообразовать свой разговор со вкусами и наклонностями высших.

Возвратимся, однако, к миссис Вилкинс, которая, несмотря на пятнадцать миль расстояния, исполнила свое поручение чрезвычайно быстро и представила такое убедительное доказательство виновности учителя, что мистер Олверти распорядился послать за преступником и допросить его *viva voce*²⁸. Итак, мистер Партридж был призван явиться лично и оправдаться (если только он может) против возведенных на него обвинений.

В назначенное время предстали пред лицом самого мистера Олверти в зале, называвшемся «Парадиз», как упомянутый Партридж с женой своей Анной, так и миссис Вилкинс, его обвинительница.

Мистер Олверти воссел в судейское кресло, и мистер Партридж был подведен к нему. Выслушав обвинение из уст миссис Вилкинс, последний не признал себя виновным, с большим жаром утверждая, что он совершенно непричастен к этому делу.

Потом была допрошена миссис Партридж; после скромного извинения, что ей придется говорить правду во вред своему мужу, она рассказала все обстоятельства, уже известные читателю, и в заключение сказала, что муж ей во всем сознался.

Простила она ему или нет, этого я не берусь решить; верно только, что она неохотно выступила свидетельницей против мужа, и есть много оснований предполагать, что ее никогда не заставили бы дать эти показания, если бы миссис Вилкинс еще дома не выведала от нее с большой ловкостью всех подробностей и не пообещала ей от имени мистера Олверти, что наказание мужа не причинит никакого вреда его семейству.

Партридж упорно продолжал отрицать свою виновность, хотя и согласился, что действительно сделал жене упомянутое признание; он оправдывался тем, что был к нему вынужден ее неотступной назойливостью: она поклялась не оставлять его в покое, пока он не признается, так как у нее нет никаких сомнений насчет его виновности, и дала торжественное обещание в

²⁸ Устно (*итал.*).

случае его признания никогда больше об этом не упоминать. Вот что довело учителя, по его словам, до ложного признания, хотя он и не был виноват; по этим соображениям он готов был признаться хоть в убийстве.

Такого поклепа миссис Партридж не могла снести хладнокровно; не имея в настоящем положении никакого средства, кроме слез, она прибегла к их помощи, разрыдавшись в три ручья, и сказала (или, вернее, прокричала), обращаясь к мистеру Олверти:

– С позволения вашей милости, ни одна еще женщина на свете не терпела таких оскорблений, как я от этого низкого человека! Это не в первый раз он мне изменяет. Нет, с позволения вашей милости, он оскорблял мое ложе многое множество раз. Я могла бы еще терпеть его пьянство и нерадение по должности, не нарушай он священной заповеди брака. Добро бы, где-нибудь на стороне, что еще куда ни шло, но с моей служанкой, в моем доме, под моей крышей осквернять мое чистое ложе – а, ей-богу, он валялся на нем со своими гнусными, вонючими потаскушками! Да, негодник, ты осквернил мое ложе, осквернил! И смеешь после этого обвинять меня, что я страшила тебя и вынудила к признанию! Ну, скажите, пожалуйста, можно ли поверить, чтоб я его страшила? Все мое тело в синяках от его жестокого обращения. Если бы ты был мужчиной, мерзавец, то постыдился бы так обижать женщину! Но какой же ты мужчина! Ты и не муж мне! Тебе нужно бегать за девками!.. Не отпирайся, когда я говорю! И раз уж он ведет себя так дерзко, то я готова, с позволения вашей милости, присягнуть, что застала их в кровати. Ты забыл небось, как избил меня до беспамяты и все лицо раскровенил за то, что я мягко укорила тебя в прелюбодеянии! Так я могу призвать в свидетели всех моих соседей. Ты до смерти меня обидел, да, да!..

Тут мистер Олверти перебил ее и попросил успокоиться, обещая ей восстановить справедливость; затем обратился к Партриджу, обалдевшему и потерявшему половину рассудка от изумления, половину от страха, и сказал, что ему прискорбно видеть такого падшего человека. Он заявил ему, что это виллянье, эти признания и отпирательства сильно отягчают его вину и что ее могут загладить только откровенное признание и искреннее раскаяние. Поэтому он убеждал его немедленно сознаться в совершенном преступлении и не упорствовать в отрицании того, что так ясно доказано даже его женой.

Здесь, читатель, прошу тебя минуточку потерпеть, пока я воздам справедливую хвалу великой мудрости и прозорливости наших законов, которые не принимают в расчет показаний жены ни за, ни против мужа. Это, – говорит один ученый автор, которого, насколько мне известно, цитировали до сих пор только в юридических сочинениях, – породило бы вечные раздоры между ними и послужило бы поводом многих клятвоступлений, а также многих побоев, штрафов, заключений в тюрьму, ссылок и повешений.

Партридж стоял некоторое время безмолвный, пока от него не потребовали ответа. Тогда он сказал, что его заявление правильно, и призвал в свидетели своей невиновности небо и самое Дженни, прося его милость немедленно послать за ней, ибо он не знал – пли, по крайней мере, делал вид, что не знает, – об ее отъезде из этой местности.

Врожденная любовь к справедливости в соединении со спокойным характером делала мистера Олверти терпеливейшим из судей и заставляла его выслушивать всех свидетелей, которых обвиняемый мог выставить в свою защиту. Поэтому он согласился отложить окончательный приговор по настоящему делу до приезда Дженни, за которой немедленно отправил нарочного, после чего, посоветовав Партриджу и жене его соблюдать мир (причем обращался преимущественно не к тому лицу, к какому следовало бы), велел им снова явиться к нему через два дня, ибо он выслал Дженни на целый день пути от своего дома.

В назначенное время все стороны собрались, когда вернулся нарочный с донесением, что не мог найти Дженни, так как несколько дней тому назад она покинула свое жилище в обществе одного офицера-вербовщика.

Тогда мистер Олверти заявил, что показание такой распутницы, какой оказывается Дженни, не заслуживает никакого доверия, но что, по его твердому убеждению, если бы она была налицо и сказала бы правду, то, наверное, подтвердила бы факты, достаточно ясно доказанные множеством обстоятельств, в том числе собственным признанием обвиняемого и заявлением жены, что она застала мужа на месте преступления. Поэтому он снова стал увещевать Партриджа сознаться. Но когда тот продолжал утверждать, что он не виновен, мистер Олверти заявил, что теперь у него нет никаких сомнений в виновности учителя и что он считает такого дурного человека недостойным получать от него какое-нибудь вспомоществование. Он лишил его поэтому ежегодного пособия и посоветовал раскаяться для спасения души своей на небе и трудиться для пропитания себя и жены на земле.

Не много, должно быть, найдется людей несчастнее бедного Партриджа. Потеряв большую часть доходов вследствие показания жены, он ею же был попрекаем ежедневно за то, что наряду со многими другими лишил ее и этой милости. Но такова уж была его судьба, и ему пришлось покориться ей.

Хотя я назвал учителя в последнем абзаце «бедным Партриджем», но прошу читателя отнестись этот эпитет на счет сострадательности моего сердца, не делая из него никаких заключений насчет невиновности потерпевшего. Был он невиновен или нет, это, может быть, обнаружится впоследствии; но если уж муза истории доверила мне некоторые тайны, я ни за что не стану их разглашать, пока она не даст мне на это позволения.

Итак, пусть читатель сдержит на время свое любопытство. Верно лишь то, что, как бы ни обстояло дело в действительности, у Олверти было более чем достаточно улик для объявления его виновным; любое судебное учреждение удовольствовалось бы и половиной их для постановления об его отцовстве. И все же, несмотря на категоричность утверждений миссис Партридж, которая готова была даже присягнуть, очень может статься, что учитель был совершенно невиноват; ибо, хотя из сопоставления времени отъезда Дженни из Литтл-Баддингтона с временем ее родов ясно было, что она зачала ребенка еще и этом приходе, однако отсюда вовсе не следовало, что Партридж непременно был его отцом. Оставляя в стороне прочие мелочи, скажем только, что в том же самом доме жил малый лет восемнадцати, причем между ним и Дженни существовала достаточная короткость для того, чтобы дать повод к подозрениям; но ревность слепа, и это обстоятельство ни разу не остановило на себе внимания взбешенной супруги.

Раскаялся Партридж благодаря увещаниям мистера Олверти или нет, это не столь ясно. Несомненно только, что жена его искренне раскаивалась в сделанном ею показании, особенно когда убедилась, что миссис Дебора обманула ее и отказалась замолвить за нее слово мистеру Олверти. Несколько больший успех имела она у миссис Блайфил, которая, как заметил, должно быть, читатель, была женщина более добродушная и поэтому любезно взялась ходатайствовать перед братом о восстановлении пособия; впрочем, помимо сердечной доброты ею руководило и другое сильнейшее и более естественное побуждение, которое выяснится в следующей главе.

Ее ходатайства были, однако, безуспешны. Мистер Олверти хотя и не разделял мнения некоторых новейших писателей, что милосердие заключается в наказании виновных, но был также далек от мысли, что эта высокая добродетель требует прощать тяжких преступников здорово живешь, без всякого основания. Сомнительность факта или какое-нибудь смягчающее вину обстоятельство никогда не оставлялись им без внимания, но просьбы правонарушителя или заступничество других нисколько его не трогали. Словом, он никогда не прощал по той только причине, что наказание приходилось не по вкусу самому виновному или друзьям его.

Партридж и жена его принуждены были покориться своей судьбе; а судьба эта была суровая: учитель не только не удвоил усердия к работе по случаю уменьшения доходов, но в некотором роде предался отчаянию; лень, всегда ему свойственный порок, в нем усилилась, вследствие чего он лишился своей маленькой школы и остался бы с женою без куска хлеба,

если бы не помощь одного доброго христианина, снабдившего его небольшими средствами к существованию.

Так как помощь эта посылалась супругам неизвестной рукой, то они, так же как, вероятно, и читатель, думали, что тайный их благодетель не кто иной, как сам мистер Олверти; не желая открыто покровительствовать пороку, он, возможно, решился втайне помочь самим порочным, когда их бедствия стали несоразмерно жестоки по сравнению с проступком. В таком свете бедственное их положение представилось и самой Фортуне: она сжалилась наконец над несчастной четой и чувствительно облегчила незавидную участь Партриджа, положив конец страданиям его жены, которая вскоре захворала оспой и умерла.

Приговор, произнесенный мистером Олверти над Партриджем, сначала встречен был всеобщим одобрением; но едва только учитель стал испытывать на себе его последствия, как все соседи смягчились и начали жалеть бедняка и порицать, как суровость и жестокость, то, что сперва называли справедливостью. Они бранили судей, хладнокровно выносящих обвинительные приговоры, и пели похвалы милосердию и прощению.

Эти негодующие крики еще более усилились по случаю смерти миссис Партридж. Хотя причиной ее была только что упомянутая болезнь, порождаемая не бедностью и не горем, многие не постыдились приписать ее суровости или, как теперь говорили, жестокости мистера Олверти.

Потеряв жену, школу и пособие и лишившись неизвестного благодетеля, переставшего посылать упомянутую выше помощь, Партридж решил переменить место действия и покинуть деревню, в которой при всеобщем сострадании соседей подвергался опасности умереть с голоду.

Глава VII

Беглый набросок наслаждения, которое благоразумные супруги могут извлечь из ненависти, с присовокуплением нескольких слов в защиту людей, смотрящих сквозь пальцы на недостатки своих друзей

Капитан хотя и сокрушил бедного Партриджа, однако не пожал плодов, на которые надеялся: ему не удалось выжить найденыша из дома мистера Олверти.

Напротив, последний с каждым днем все больше привязывался к маленькому Томми, словно чрезмерной нежностью и ласковостью к сыну хотел загладить суровость к отцу.

Это обстоятельство, наравне с другими ежедневными примерами великодушия мистера Олверти, сильно портило самочувствие капитана, ибо в каждой такой щедрости он видел ущерб своему богатству.

В этом, как мы сказали, он расходился со своей женой, как, впрочем, и во всем другом. Хотя любовь, основанная на рассудке, является, по мнению многих мудрых людей, более прочной, чем любовь, внушенная красотой, но в настоящем случае вышло не так. Как раз взгляды и суждения супругов сделались для них яблоком раздора и главной причиной ссор, от времени до времени возникавших между ними, пока наконец супруга не прониклась глубочайшим презрением к мужу, а супруг – безграничным отвращением к жене.

Так как оба они упражняли свои способности главным образом на вопросах богословия, то с первого их знакомства оно и составляло главный предмет их бесед. Капитан как человек благовоспитанный до свадьбы всегда уступал своей собеседнице, и притом не неуклюже, как иной самодовольный дурак, который, вежливо преклоняясь перед доводами высшего, желает все же показать, что считает себя правым. Напротив, капитан, хотя и был одним из спесивейших людей на свете, однако признавал свою противницу победительницей так безусловно, что мисс Бриджет, нисколько не сомневавшаяся в его искренности, всегда выносила из диспута удивление перед своим умом и любовь к его уму.

Хотя эта угодливость особе, которую капитан презирал от всей души, была не так тяжела для него, как в том случае, когда в надежде на повышение в чинах ему пришлось бы проявить ее по отношению к Годли²⁹ или другому выдающемуся своей ученостью богослову, но и она обходилась ему слишком дорого, чтобы он мог терпеть ее без особых причин. Поэтому, когда женитьба устранила все такие причины, он стал тяготиться своей уступчивостью и выслушивал мнения жены с тем наглым высокомерием, на какое способны только люди, сами заслуживающие презрения, и какое способны сносить только те, которые его совершенно не заслуживают.

Когда первые потоки нежности иссякли и когда в спокойные и долгие промежутки между приступами страсти рассудок начал раскрывать глаза новобрачной и миссис Блайфил увидела, как изменилось обращение капитана, который под конец на все ее доводы только презрительно фырчал, то она не обнаружила никакого желания сносить оскорбление с кроткой покорностью. В первый раз оно до такой степени взбесило ее, что дело могло бы принять очень трагический оборот, если бы гнев ее не вылился в более мягкой форме, преисполнив ее глубочайшим презрением к умственным способностям мужа, что несколько умерило ее ненависть к нему, которой, впрочем, она тоже запаслась в немалом количестве.

Ненависть капитана к жене была проще: за недостатки ума и знаний он презирал ее не больше, чем за то, что она не была шести футов росту. В своем суждении о женском поле капитан перешеголял даже брюзгу Аристотеля: он смотрел на женщину, как на домашнее животное, немного поважнее кошки, потому что обязанности ее были несколько значительнее; но

²⁹ Годли Бенджамин (1676–1761) – выдающийся английский богослов-полемист, рационалист. (Примеч. пер.)

разница между ними, в его представлении, была так ничтожна, что при женитьбе на землях и угодьях мистера Олверти ему было почти безразлично, кого из них ему взять за ними в приданое. Все же самолюбие его было чрезмерно, и он болезненно переносил презрение, которое начала теперь проявлять к нему жена; в соединении с любовью, которой она так неумеренно награждала его раньше, это породило в нем гадливость и отвращение, какие редко в ком можно встретить.

Лишь одна ситуация супружеской жизни чужда наслаждению – состояние равнодушия. Но если многим моим читателям известно, надеюсь, как бесконечно приятно бывает угождать любимому человеку, то, боюсь, найдутся и такие, которые изведали удовольствие мучить ненавистного. В этом удовольствии, сдается мне, нужно видеть причину того, что муж и жена часто отказываются от покоя, которым могли бы наслаждаться в браке, как бы ни были они ненавистны друг другу. Вот почему на жену часто находят припадки любви и ревности и она даже отказывает себе во всех удовольствиях, лишь бы разрушить и расстроить удовольствия мужа; а он в отместку подвергает себя всяческим стеснениям и сидит дома в неприятном для себя обществе, чтобы жена оставалась с человеком, которого она тоже терпеть не может. Отсюда также обильные слезы, нередко проливаемые вдовой над прахом мужа, с которым она не имела ни минуты мира и покоя в жизни, но которого теперь ей нельзя будет мучить.

Но ни одна супружеская чета не испытывала этого наслаждения в такой мере, как капитан и его жена. Достаточно было одному из них высказать какое-нибудь мнение, чтобы другой стал упорно отстаивать мнение прямо противоположное. Если один предлагал какое-нибудь развлечение, другой непременно от него отказывался, они никогда не любили и не ненавидели, не хвалили и не бранили одного и того же человека; и вот почему, заметив, что капитан злобно поглядывает на найденыша, жена его начала ласкать ребенка не меньше собственного сына.

Читатель легко поймет, что такие отношения между мужем и женой не слишком содействовали покою мистера Олверти, мало напоминая то безмятежное счастье, которое он мечтал устроить для всех троих при помощи этого брачного союза. Но нужно сказать, что, как он ни обманулся в своих радужных надеждах, все же он далеко не знал всей правды; ибо если у капитана было достаточно оснований держаться настороже в его присутствии, то и жене его приходилось, из боязни навлечь на себя неудовольствие брата, вести себя точно таким же образом. Действительно, третье лицо может быть очень близким и даже долго жить в одном доме с супружеской четой, проявляющей достаточную сдержанность, и нисколько не догадываться о горьких чувствах, питаемых супругами друг к другу. Бывает, конечно, что целого дня мало как для ненависти, так и для любви, однако долгие часы, обыкновенно проводимые вместе, без посторонних свидетелей, доставляют мало-мальски сдержанным супругам столько благоприятных случаев насладиться обеими названными страстями, что они свободно могут выдержать несколько часов в обществе и не миловаться, если они влюблены, или не плевать друг другу в лицо, если они друг друга ненавидят. Возможно, впрочем, что мистер Олверти видел довольно для того, чтобы ему было немного не по себе; ибо если умный человек не кричит и не жалуется, как ребенок или женщина, то отсюда мы вовсе не должны заключить, что ему не больно. Возможно также, что он видел некоторые недостатки в капитане и оставался к ним совершенно равнодушен, ибо истинно мудрые и добрые люди принимают людей и вещи такими, как они есть, не жалуясь на их несовершенства и не пытаясь их исправить. Они могут видеть недостаток в друге, в родственнике, в знакомом, не говоря об этом ни ему, ни другим, и часто это нисколько не мешает им любить его. Действительно, если бы широкий ум не умерялся подобной снисходительностью, то нам оставалось бы только дружить с глупцами, которых ничего не стоит обмануть; ведь, надеюсь, мои друзья простят мне, если я скажу, что не знаю ни одного из них без недостатков, и мне было бы очень прискорбно, если бы среди моих друзей нашелся такой, который не видел бы их во мне. Оказывая подобную снисходительность, мы требуем, чтобы и другие оказывали ее нам. Это проявление дружбы, далеко не лишенное приятности. И

мы должны быть снисходительны без желания исправлять других. Пожалуй, нет более верного признака глупости, чем старание исправлять естественные слабости тех, кого мы любим. Самая утонченная натура, подобно тончайшему фарфору, может иметь изъян, и в обоих случаях, боюсь, он неисправим, хотя часто нисколько не уменьшает высокой ценности экземпляра.

Итак, мистер Олверти, разумеется, видел некоторые несовершенства в капитане. Но капитан был человек хитрый и всегда держался настороже в его присутствии, так что эти несовершенства казались мистеру Олверти не более как легкими пятнами на прекрасном характере; по доброте своей, он смотрел на них сквозь пальцы и из благоразумия не тыкал ими капитану в глаза. Мнения его сильно изменились, если бы он узнал всю правду, что, вероятно, и случилось бы со временем, если описанные отношения между супругами установились бы надолго; однако Фортуна решительным образом этому воспротивилась, заставив капитана совершить нечто такое, вследствие чего он снова стал дорог своей жене и вернул себе всю ее любовь и нежность.

Глава VIII

Средство вернуть утраченную любовь жены, всегда действовавшее безошибочно даже в самых отчаянных случаях

Капитан щедро вознаграждал неприятные минуты, проводимые в разговорах с женой (что он старался делать как можно реже), приятными размышлениями, которым он предавался наедине.

Эти размышления бывали всецело посвящены богатству мистера Олверти. Во-первых, он подолгу высчитывал как мог точные его размеры, причем часто открывал способ изменить их в свою пользу; во-вторых, и главным образом, тешил себя придумыванием разных перемен в доме и в садах и многими иными планами по части улучшений в поместье и придания ему большей пышности. С этой целью он принялся изучать архитектуру и садоводство и прочел много книг по этим предметам; эти занятия поглощали все его свободное время и были его единственным развлечением. В конце концов он составил великолепнейший план, и очень жаль, что мы не в силах изложить его читателю, настолько он затмевает по роскоши даже нынешнее время. Действительно, план капитана в сильнейшей степени обладал двумя главными качествами, отличающими все великие и благородные замыслы этого рода: он требовал непомерных издержек для осуществления и очень долгого времени для приведения в сколько-нибудь законченную форму. Что касается издержек, то огромное богатство, которым, по предположению капитана, владел мистер Олверти и которое капитан должен был унаследовать, обещало покрыть их с избытком; а крепкое здоровье и возраст – капитан был человек еще только средних лет – устраняли всякие опасения, что он не доживет до завершения своего плана.

Одного только недоставало, чтобы приступить к немедленному его выполнению: смерти мистера Олверти; высчитывая его сроки, капитан пускал в ход всю свою алгебру, а кроме того, скупал все книги о продолжительности жизни, об условных наследствах и т. п. Из них он убедился, что смерть может случиться каждый день и через несколько лет последует почти наверное.

Но однажды, когда капитан был погружен в глубокое размышление на эту тему, с ним приключилось весьма несчастное и несвоевременное происшествие. Действительно, коварная Фортуна не могла придумать ничего жесточе, ничего так некстати, ничего губительнее для всех его планов! Словом, – чтобы не томить больше читателя, – как раз в ту минуту, когда сердце его упивалось размышлениями о счастье, которое ему принесет смерть мистера Олверти, сам он... скончался от апоплексического удара.

К несчастью, это приключилось с капитаном во время одинокой вечерней прогулки, так что никто не мог подать ему помощь, да вряд ли она и спасла бы его. Итак, он отмерил кусок земли, который был теперь достаточен для всех его планов, и лежал мертвый на дорожке, как великое (хотя и не живое) доказательство истины слов Горация:

Tu secunda marmora
Locas sub ipsum funus: et sepulchri
Immeior, struis domos³⁰, —

³⁰ *Tu secunda marmora...* – Гораций, «Оды» (II, 18, 17–19). (Примеч. пер.)

которые я переведу читателю так: «Ты заготавливаешь благороднейшие строительные материалы, когда нужны только кирка и заступ, и строишь дом в пятьсот футов длиной и сто шириной, забыв о жилище в шесть футов».

Глава IX

Доказательство безошибочности вышеуказанного средства, явствующее из жалоб вдовы, а также другие аксессуары смерти вроде врачей и т. п., и эпитафия в подобающем стиле

Мистер Олверти, сестра его и еще одна дама собрались в обычный час в столовой; они провели в ожидании гораздо больше времени, чем было принято, и мистер Олверти первый заявил, что его начинает беспокоить опоздание капитана (всегда аккуратно являвшегося к столу), и приказал позвонить на дворе, особенно в той стороне, куда капитан обычно ходил гулять.

Когда все эти призывы оказались безуспешными (ибо, по несчастной случайности, капитан отправился в тот вечер совсем по другой дороге), миссис Блайфил объявила, что она серьезно встревожена. Тогда другая дама, принадлежавшая к числу самых близких ее знакомых и хорошо знавшая ее истинные чувства, усердно принялась ее успокаивать, говоря, что, конечно, тревога ее вполне понятна, но ничего худого случиться не могло. Вечер такой прекрасный, что, по всей вероятности, капитан увлекся и зашел дальше обыкновенного, или, может быть, он задержался у кого-нибудь из соседей. Миссис Блайфил отвечала: нет, она уверена, что с ним что-нибудь случилось, он не остался бы в гостях, не приславши сказать ей об этом, так как должен же он знать, что она будет беспокоиться. На это знакомая дама ничего не могла ей возразить и прибегла к обычным в таких случаях уговариваниям, прося ее не пугаться, так как это может дурно отозваться на ее здоровье; в заключение она налила большой бокал вина и уговорила миссис Блайфил выпить.

В это время в столовую вернулся мистер Олверти, самолично отправившийся на розыски капитана. На лице его ясно видно было смятение, в сильной степени отнявшее у него дар речи. Но на разных людей горе действует различно, и те самые опасения, которые лишили его голоса, укрепили голосовые связки миссис Блайфил. Она начала горько жаловаться, сопровождая свои причитания потоком слез. Приятельница ее заявила, что не может ее бранить за эти слезы, но в то же время советовала ей не предаваться горю, пытаясь смягчить скорбь своей подружки философическими замечаниями насчет множества неприятностей, которым ежедневно подвержена человеческая жизнь, что, по ее мнению, является достаточным основанием для того, чтобы укрепить нас против всяких случайностей, как бы ни были они ужасны или внезапны. Она поставила миссис Блайфил в пример терпение ее брата; правда, удар этот для него не может быть так чувствителен, как для нее, но и он, без сомнения, весьма опечален, а между тем удерживает свою скорбь в должных границах покорностью воле божьей.

– Не говорите мне о брате! – воскликнула миссис Блайфил. – Я одна достойна вашего сожаления! Что значит горе друга по сравнению с чувствами жены в таких случаях? Ах, он погиб! Его кто-нибудь убил... Я больше не увижу его!

Тут поток слез произвел на нее то же действие, какое стойкость оказала на мистера Олверти, и она замолчала.

В эту минуту вбежал, задыхаясь, слуга с криком: «Капитана нашли!...» И прежде чем он успел сообщить подробности, за ним вошли еще двое слуг, неся на руках мертвое тело.

Тут любознательный читатель может увидеть другой пример того, как различно действует на людей горе: если мистер Олверти до сих пор молчал по той же причине, по какой сестра его голосила, то вид бесчувственного тела, вызвавший у него слезы, вдруг остановил поток слез миссис Блайфил, которая сначала отчаянно взвизгнула и вслед за тем упала в обморок.

Комната скоро наполнилась слугами, часть которых вместе с гостьей принялась хлопотать над вдовой, а остальные вместе с мистером Олверти помогли перенести капитана в теплую постель, где были испробованы все средства для возвращения ему жизни.

Мы были бы очень рады, если бы могли сообщить читателю, что хлопоты над обоими бесчувственными телами увенчались одинаковым успехом: но в то время как старания привести в чувство миссис Блайфил оказались настолько удачны, что, пролежав приличное время в обмороке, она очнулась, к великому удовольствию окружающих, – все попытки кровопускания, растирания и т. п., примененные к капитану, не привели ни к чему. Смерть, неумолимый судья, произнесла над ним приговор и отказалась отменить его, несмотря на заступничество двух прибывших докторов, тотчас же по приезде получивших плату за совет.

Эти два доктора, которых, во избежание всяких злобных инсинуаций, назовем доктор У и доктор Z, пощупав пульс, – доктор У на правой руке и доктор Z на левой, – единогласно объявили, что капитан, безусловно, мертв, но что касается болезни, явившейся причиной его смерти, то мнения их разошлись: доктор У полагал, что он умер от апоплексии, а доктор Z – от эпилепсии.

Это подало повод к диспуту между учеными мужами, в котором каждый из них представил доказательства в пользу своего мнения. Доказательства эти оказались настолько равносильными, что лишь укрепили каждого доктора в своих мыслях и не произвели ни малейшего впечатления на противника.

Сказать правду, почти у каждого врача есть своя излюбленная болезнь, которой он приписывает все победы, одержанные над человеческим естеством. Подагра, ревматизм, камни, чахотка – все имеют своих патронов в ученой коллегии, особенно же нервная лихорадка или нервное возбуждение. Этим а объясняются разногласия относительно причины смерти пациента, возникающие иногда среди самых ученых докторов и так сильно удивляющие людей, которые не знают изложенного нами обстоятельства.

Читатель найдет, может быть, странным, что эти ученые Испода, вместо того чтобы попытаться вернуть к жизни капитана, немедленно вступили в спор о причине его смерти; но все уже было испробовано еще до их прибытия: капитана уложили в теплую постель, отворили ему кровь, растерли лоб и пустили в рот и в нос все виды крепких капель.

Таким образом врачи, увидя, что все эти средства уже были пущены в ход, затруднялись, чем заполнить время, которое, согласно обычаю и требованиям приличия, полагается провести у постели пациента за полученную плату, – вот им и пришлось придумать какую-нибудь тему для рассуждения; а какая тема могла быть естественнее только что упомянутой?

Наши доктора собрались уже уходить, когда мистер Олверти, оставив капитана и покорившись воле божьей, стал расспрашивать о состоянии здоровья сестры и попросил их перед уходом навестить ее.

Миссис Блайфил уже оправилась после обморока и чувствовала себя настолько сносно, насколько вообще могла себя чувствовать женщина в ее положении. По выполнении всех предварительных церемоний, потому что это был новый пациент, доктора, согласно просьбе мистера Олверти, отправились к больной и завладели обеими ее руками совершенно так же, как раньше проделали это с руками трупа.

Положение леди было прямо противоположно положению ее мужа: тому не могла уже помочь никакая медицина, а она не нуждалась ни в какой помощи.

Нет ничего несправедливее ходячего мнения, которое клеветает на врачей, будто они являются друзьями смерти. Напротив, если сравнить число людей, поставленных на ноги медициной, с числом ее жертв, то, мне кажется, первое окажется более значительным. Иные врачи даже столь щепетильны в этом отношении, что, во избежание возможности убить пациента, воздерживаются от всякого лечения и прописывают только такие лекарства, которые не приносят ни пользы, ни вреда. Мне приходилось слышать, как иные из них с важностью изрекали,

что «нужно предоставить природе делать свое дело, а врач должен только стоять рядом и поощрительно похлопывать ее по плечу, когда она хорошо справляется со своей обязанностью».

Наши доктора так мало любили смерть, что оставили в покое труп, удовольствовавшись платой только за один визит; но живой пациент далеко не внушал им такого отвращения; они немедленно пришли к соглашению касательно природы болезни миссис Блайфил и с большим усердием принялись прописывать ей рецепты.

Убедили ли врачи миссис Блайфил в том, что она больна, подобно тому как она сама сначала убедила их в этом, я не берусь решить, только она целый месяц по всем правилам разыгрывала роль больной. В течение этого времени ее посещали доктора, за ней ухаживали сиделки и знакомые постоянно присылали узнавать о ее здоровье.

Наконец приличный срок для болезни и неутешною горя истек, доктора были отпущены, и миссис Блайфил снова начала появляться в обществе, единственным изменением в ней по сравнению с прежним был траурный цвет ее платья и лица.

Капитана тем временем схоронили, и он, вероятно, уже далеко шагнул бы по дороге к забвению, если бы не дружеские чувства мистера Олверти, который позаботился сохранить память о нем при помощи следующей эпитафии, написанной человеком великого ума и правдивости, знавшим капитана в совершенстве:

Здесь покоится,
в ожидании радостного воскресения,
тело

Капитана Джона Блайфила

Лондон был почтен его рождением,
Оксфорд – его воспитанней
Ело дарования
сделали честь его званию и его отечеству,
а жизнь – его религии и человеческой природе

Он был почтительный сын,
нежный супруг,
любящий отец,
любезный брат,
искренний друг,
набожный христианин
и добрый человек

Неутешная вдова его воздвигла сей камень
в увековечение его добродетелей
и своей любви.

Книга третья

закрывающая в себе достопамятнейшие события, происшедшие в семействе мистера Олверти с момента, когда Томми Джонсу исполнилось четырнадцать лет, и до достижения им девятнадцатилетнего возраста. Из этой книги читатель может выудить кое-какие мысли относительно воспитания детей

Глава I

закрывающая в себе мало или ничего

Читатель благоволит припомнить, что в начале второй книги этой истории мы намекнули ему о нашем намерении обходить молчанием обширные периоды времени, если в течение их не случилось ничего, достойного быть занесенным в нашу летопись.

Поступая таким образом, мы заботимся не только о собственной репутации и удобствах, но также о благе и интересах читателя: ведь этим способом мы избавляем его от потери времени, которое уходит на нудное и бесполезное чтение, а кроме того, доставляем ему случай при всех таких пробелах изощряться в столь свойственной ему удивительной проницательности, наполняя пустые промежутки времени собственными догадками, материал для которых мы постарались доставить ему на предыдущих страницах.

Например, кто из читателей не сообразит, что мистер Олверти, потеряв друга, испытывал сначала те чувства скорби, какие свойственны в таких случаях всем людям, у которых сердца не каменные и головы не кремневые? Опять-таки какой читатель не догадается, что философия и религия со временем умерили, а потом и вовсе потушили эту скорбь? Философия – показывая безрассудство и тщету ее; а религия – осуждая ее как грех и в то же время облегчая надеждами и заверениями, позволяющими стойкому и набожному человеку прощаться с другом на его смертном ложе почти с таким же спокойствием, как если бы тот собирался в далекое путешествие, и почти с такой же надеждой увидеться с ним снова.

Сообразительному читателю не будет также стоить большого труда представить себе, что делала миссис Бриджет Блайфил; он может быть уверен, что в течение всего того срока, когда горю подобает проявляться в наружности человека, она строжайше соблюдала все требования обычая и приличий, согласуя выражение лица с изменениями туалета: как платье ее менялось с траурного на черное, с черного на серое, с серого на белое, так и выражение лица переходило от мрачного к скорбному, от скорбного к печальному, от печального к задумчивому, пока не наступил день, когда ей позволено было вернуться к своей прежней безмятежности.

Мы привели эти два примера только в качестве образчика задачи, которую можно предложить читателям низшего разряда. Гораздо более сложных выкладок и более высокой проницательности мы вправе ожидать от умов, более искусственных в области критики. Множество замечательных открытий будет, я не сомневаюсь, сделано таковыми относительно событий, имевших место в семействе нашего почтенного сквайра в течение ряда лет, которые мы решили обойти молчанием; правда, в этот период не случилось ничего, достойного занять место в настоящей истории, но все же бывали разные происшествия того же порядка, какие описываются газетными и журнальными историками нашего времени, на чтение которых множество людей тратит массу времени, с очень малой, боюсь, для себя пользой. Между тем на предлагаемые здесь догадки могут с большой выгодой быть употреблены лучшие способности нашего ума, ибо гораздо полезнее уметь предсказывать поступки людей при тех или иных обстоятельствах на основании их характера, чем судить об их характерах на основании их поступков. Первое, сознаюсь, требует большей проницательности, но может быть произведено острым умом с не меньшей достоверностью, чем последнее.

Так как мы убеждены, что огромное большинство наших читателей в весьма высокой степени одарено этой способностью, то для упражнения ее предоставляем им период в целых двенадцать лет, а сами выведем наконец нашего героя уже четырнадцатилетним юношей, не сомневаясь, что многие давно горят нетерпением познакомиться с ним.

Глава II

Герой нашей длинной истории появляется при весьма дурных предзнаменованиях. Коротенький рассказ столь низкого жанра, что иные могут счесть его недостойным внимания. Несколько слов об одном сквайре и более обстоятельные сведения о полевом стороже и учителе

Так как, садясь писать эту историю, мы решили никому не льстить, но направлять свое перо исключительно по указаниям истины, то нам приходится вывести нашего героя на сцену в гораздо более неприглядном виде, чем нам хотелось бы, и честно заявить уже при первом его появлении, что, по единогласному мнению всего семейства мистера Олверти, он был рожден для виселицы.

К сожалению, я должен сказать, что оснований для этого мнения было более чем достаточно; молодчик с самых ранних лет обнаруживал тяготение ко множеству пороков, особенно к тому, который прямее прочих ведет к только что упомянутой, пророчески возвешенной ему участи: он уже трижды был уличен в воровстве – именно в краже фруктов из сада, в похищении утки с фермерского двора и мячика из кармана молодого Блайфила.

Пороки этого юноши представлялись в еще более неблагоприятном свете при сравнении с добродетелями его товарища, молодого Блайфила – мальчика, столь резко отличавшегося от Джонса, что его осыпали похвалами не только родные, но и все соседи. В самом деле, характера паренек был замечательного: рассудительный, скромный и набожный не по летам – качества, стяжавшие ему любовь всех, кто его знал, – тогда как Том Джонс вызывал всеобщую неприязнь, и многие выражали удивление, как это мистер Олверти допускает, чтобы такой озорник воспитывался с его племянником, нравственность которого могла пострадать от дурного примера.

Происшествие, случившееся в это время, представит вдумчивому читателю характеры двух мальчиков гораздо лучше, чем это способно сделать самое длинное рассуждение.

У Тома Джонса, который, как он ни плох, должен служить героем нашей истории, был среди слуг семейства только один приятель; ибо что касается миссис Вилкинс, то она давно уже его покинула и совершенно примирилась со своей госпожой. Приятель этот был полевой сторож, парень без крепких устоев, понятия которого насчет различия между *meum* и *tuum*³¹ были немногим тверже, чем понятия самого молодого джентльмена. Поэтому их дружба давала слугам много поводов к саркастическим замечаниям, большая часть которых была уже и раньше или, по крайней мере, сделалась теперь, пословицами; соль всех их может быть вмещена в краткое латинское изречение: «*Noscitur a socio*», которое, мне кажется, может быть переведено так: «Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты».

Сказать по правде, кое-какие из этих ужасных пороков Джонса, три примера которых мы только что привели, были порождены наущениями приятеля, в двух или трех случаях являвшегося, выражаясь языком юстиции, причастным к делу: вся утка и большая часть яблок пошли на нужды полевого сторожа и его семьи; но так как попался один лишь Джонс, то на долю бедняги досталось не только все наказание, но и весь позор.

Это случилось вот каким образом.

Поместье мистера Олверти примыкало к землям одного из тех джентльменов, которых принято называть покровителями дичи. Люди этой породы так сурово мстят за смерть зайца или куропатки, что можно было подумать, будто они разделяют суеверие индийских банианов³², часто посвящающих, как нам рассказывают, всю свою жизнь охране и защите какого-

³¹ Мое и твое (*лат.*).

³² *Индийские банианы* — индийские купцы-брамины, торговавшие главным образом за пределами Индии. Филдинг наме-

нибудь вида животных, – если бы наши английские банианы, охраняя животных от иных врагов, не истребляли их без всякого милосердия целыми стаями сами и не обеляли себя таким образом от всякой прикосновенности к языческим суевериям.

Я держусь, однако, гораздо лучшего мнения о людях этого сорта, чем иные, так как считаю, что они лучше многих других отвечают порядку Природы и благим целям, для которых они были назначены. Гораций говорит, что есть класс человеческих существ —

*Fruges consumere nati*³³, —

«рожденных потреблять плоды земные», – и я нисколько не сомневаюсь, что есть и другой класс —

Feras consumere nati, —

«рожденных потреблять полевых зверей», или, как их принято называть, дичь. Кто же станет отрицать, что наши сквайры в совершенстве исполняют это свое назначение?

Юный Джонс отправился однажды с полевым сторожем поохотиться; случилось так, что выводок куропаток, который они вспугнули у границы поместья, врученного Фортуной, во исполнение мудрых целей Природы, одному из таких потребителей дичи, – этот выводок куропаток полетел прямо на его землю и был, как говорится, взят нашими охотниками на прицел в кустах дрока, в двухстах или трехстах шагах за пределами владений мистера Олверти.

Мистер Олверти строжайше запретил полевому сторожу, под страхом увольнения со службы, заниматься браконьерством во владениях соседей, даже менее ревниво оберегающих свои права, чем хозяин названного поместья. По отношению к остальным соседям это приказание не всегда соблюдалось с большой пунктуальностью; но так как нрав джентльмена, у которого куропатки нашли убежище, был хорошо известен, то сторож ни разу еще не покушался вторгнуться в его земли. Не сделал бы он этого и теперь, если бы не уговоры его юного товарища, горевшего желанием преследовать убегающую дичь. Джонс так горячо его упрашивал, что сторож, и сам весьма рьяный охотник, послушался его наконец, проник в соседское поместье и застрелил одну куропатку.

На их беду, в это время невдалеке проезжал верхом сам хозяин; услышав выстрел, он немедленно поскакал туда и накрыл бедного Тома; полевой сторож успел шмыгнуть в густые кусты дрока и счастливо укрылся в них.

Обыскав юношу и найдя у него куропатку, джентльмен поклялся жестоко отомстить и довести до сведения мистера Олверти о проступке Тома. Свои слова он сразу же претворил в дело: помчался к дому соседа и принес жалобу на браконьерство в его поместье в таких сильных выражениях и таким озлобленным тоном, точно воры вломились к нему в дом и унесли самое ценное из обстановки. Он прибавил, что Джонс был не один, но ему не удалось поймать его сообщника: сквайр ясно слышал два выстрела, раздавшиеся почти одновременно.

– Мы нашли только одну эту куропатку, – сказал он, – но бог их знает, сколько они наделали вреда.

По возвращении домой Том немедленно был позван к мистеру Олверти. Он признался в преступлении и совершенно правильно сослался в свое оправдание на то обстоятельство, что выводок поднялся с земли мистера Олверти.

Затем Том был подвергнут допросу: кто с ним находился? Причем мистер Олверти объявил о своей твердой решимости дознаться, поставив обвиняемого в известность насчет показаний сквайра и двух его слуг, что они слышали два выстрела; но Том твердо стоял на своем,

кает здесь на веру браминов (не только банианов) в переселение душ, следствием которой является их бережное отношение к животным и воздержание от мясной пищи. Европейцам, торговавшим с Индией, прежде всего приходилось сталкиваться с банианами, и это слово долгое время было синонимом брамина. (Примеч. пер.)

³³ *Fruges consumers...* – Гораций, «Послания» (I, 2, 27). (Примеч. пер.)

уверяя, что он был один; впрочем, сказать правду, сначала он немного колебался, что подтвердило бы убеждение мистера Олверти, если бы слова сквайра и его слуг нуждались в каком-либо подтверждении.

Затем был призван к допросу полевой сторож как лицо, на которое падало подозрение; но, полагаясь на данное ему Томом обещание взять все на себя, он решительно заявил, что не был с молодым баринном и даже не видел его сегодня после полудня.

Тогда мистер Олверти обратился к Тому с таким сердитым лицом, какое редко у него бывало, советуя ему сознаться, кто с ним был, ибо он решил непременно это выяснить. Однако юноша упорно отказывался отвечать, и мистер Олверти с гневом прогнал его, сказав, что дает ему время подумать до следующего утра, иначе его подвергнут допросу другие и другим способом.

Бедный Джонс провел очень невеселую ночь, тем более невеселую, что его постоянный компаньон Блайфил был где-то в гостях со своей матерью. Страх грозившего наказания меньше всего мучил его; главной тревогой юноши было, как бы ему не изменила твердость и он не выдал полевого сторожа, который в таком случае был бы неминуемо обречен на гибель. Сторожу тоже было не по себе. Он мучился теми же страхами, что и юноша, также тревожась больше за честь его, чем за кожу.

Утром, явившись к его преподобию мистеру Твакому – особе, которой мистер Олверти поручил обучение обоих мальчиков, – Том услышал от этого джентльмена те же вопросы, какие ему были заданы накануне, и дал на них те же ответы. Следствием этого была жестокая порка, мало чем отличавшаяся от тех пыток, при помощи которых в иных странах исторгаются признания у преступников.

Том выдержал наказание с большой твердостью; и хотя его наставник спрашивал после каждого удара, сознается ли он наконец, мальчик скорее позволил бы содрать с себя кожу, чем согласился бы выдать приятеля или нарушить данное обещание.

Тревога полевого сторожа теперь прошла, и сам мистер Олверти начал проникаться состраданием к Тому; ибо, не говоря уже о том, что мистер Тваком, взбешенный безуспешностью своей попытки заставить мальчика сказать то, чего он от него добивался, поступил с ним гораздо суровее, чем того хотел добрый сквайр, мистер Олверти начал теперь думать, не ошибся ли его сосед, что легко могло случиться с таким крайне запальчивым и раздражительным человеком; а словам слуг, подтверждавшим показание своего господина, он не придавал большой цены. Жестокость и несправедливость были, однако, две такие вещи, сознавать которые в своих поступках мистер Олверти не мог ни одной минуты; он позвал Тома, дружески приласкал его и сказал:

– Я убежден, дитя мое, что мои подозрения были несправедливы, и сожалею, что ты за это так сурово наказан.

Чтобы загладить свою несправедливость, он даже подарил ему лошадку, повторив, что очень опечален случившимся.

Тому стало теперь стыдно своей провинности. Никакая суровость не могла бы довести его до этого состояния; ему легче было вынести удары Твакома, чем великодушные Олверти. Слезы брызнули из глаз его, он упал на колени и воскликнул:

– О, вы слишком, слишком добры ко мне, сэр! Право, я этого не заслуживаю!

И от избытка чувств он в эту минуту чуть было не выдал тайны; но добрый гений сторожа шепнул ему, какие суровые последствия может иметь для бедняги его признание, и эта мысль сомкнула ему уста.

Тваком изо всех сил старался убедить Олверти не жалеть мальчика и не обращаться с ним ласково, говоря, что «он упорствует в неправде», и даже намекнул, что вторичная порка, вероятно, откроет все начистоту.

Однако мистер Олверти решительно отказался дать свое согласие на этот опыт. Он сказал, что мальчик уже довольно наказан за сокрытие истины, даже если он виноват, так как, по видимому, он поступил таким образом только из ложно понятого долга чести.

– Чести?! – с жаром воскликнул Тваком. – Просто упрямство и непокорность! Разве честь может учить человека лжи, разве честь может существовать независимо от религии?

Беседа происходила за столом по окончании обеда; присутствовали мистер Олверти, мистер Тваком и еще третий джентльмен, вступивший теперь в разговор. Прежде чем идти дальше, бегло познакомим с ним читателя.

Глава III

Характер мистера Сквейра, философа, и мистера Твакома, богослова, их спор касательно...

Имя этого джентльмена, жившего уже некоторое время в доме мистера Олверти, было мистер Сквейр. Его природные дарования были не первого сорта, но он их сильно усовершенствовал учением. Он был глубоко начитан в древних и большой знаток всех творений Платона и Аристотеля. По этим великим образцам он преимущественно и образовал себя; в одних случаях придерживаясь больше мнения первого, а в других – второго. В области нравственности он был убежденнейший платоник, в религии же склонялся к учению Аристотеля.

Однако же, построив свои нравственные понятия по образцам Платона, он был совершенно согласен с Аристотелем во взгляде на этого великого человека и считал его скорее философом и спекулятивным мыслителем, чем законодателем. Взгляд этот он простирал так далеко, что всю добродетель считал предметом одной только теории. Правда, насколько мне известно, он никому этого не высказывал; однако стоило только немножко приглядеться к его поступкам, и невольно напрашивалась мысль, что его убеждения действительно таковы, ибо они прекрасно объясняли некоторые странные противоречия в его натуре. Встречи этого джентльмена с мистером Твакомом почти никогда не обходились без споров, потому что их взгляды на вещи были диаметрально противоположны.

Сквейр считал человеческую природу верхом всяческой добродетели, а порок – такой же ненормальностью, как физическая уродливость. Тваком, наоборот, утверждал, что разум человеческий после грехопадения есть лишь вертеп беззакония, очищаемый и искупаемый только благодатью. В одном лишь они были согласны – именно в том, что во время споров о нравственности никогда не употребляли слова «доброта». Любимым выражением философа было «естественная красота добродетели»; любимым выражением богослова – «божественная сила благодати». Философ мерил все поступки, исходя из непреложного закона справедливости и извечной гармонии вещей; богослов судил обо всем на основании авторитета, причем всегда прибегал к Священному Писанию и его комментаторам, как юрист прибегает к комментариям Коука³⁴ на Литтлтона³⁵, считая толкование и текст одинаково авторитетными.

После этого краткого вступления читатель благоволит припомнить, что священник заключил свою речь торжествующим вопросом, на который, по его мнению, не было ответа, а именно: разве честь может существовать независимо от религии?

Сквейр заявил на это, что, не установив предварительно значения слов, невозможно рассуждать о них философски и что едва ли найдутся два слова с более расплывчатым и неопределенным значением, чем слова, им упомянутые, ибо относительно чести существует почти столько же самых разнообразных мнений, как и относительно религии.

– Однако если под честью вы подразумеваете подлинную естественную красоту добродетели, то я берусь утверждать, что она может существовать независимо от всякой религии. Да ведь вы и сами допускаете, что она может существовать независимо от всех религии, кроме одной; то же самое скажет и магометанин, и еврей, и последователь любой секты на свете.

³⁴ Коук Эдуард (1552–1634) – основатель современного английского гражданского права, автор «Уставов» («Institutiones») в четырех томах, первый том которых является комментарием к упомянутому трактату Литтлтона. (Примеч. пер.)

³⁵ Литтлтон Эдуард (1589–1645) – английский юрист, написавший на так называемом юридическом французском языке трактат «О владении», который и до сих пор служит основой английского законодательства о собственности. (Примеч. пер.)

Тваком отвечал, что это обычный лукавый довод всех врагов истинной Церкви. Он сказал, что не сомневается в том, что всем неверующим и еретикам хотелось бы согласить честь со своими нелепыми заблуждениями и пагубными лжеучениями.

– Однако честь, – ораторствовал он, – не является многообразной вследствие того, что о ней существует много нелепых мнений, как не является многообразной религия оттого, что на свете есть разные секты и ереси. Когда я говорю о религии, я имею в виду христианскую религию, и не просто христианскую религию, а религию протестантскую, и не просто протестантскую религию, а англиканскую Церковь. И когда я говорю о чести, я разумею род божественной благодати, который не только совместим с этой религией, но и зависит от нее и в то же время несовместим ни с какой иной религией и от нее не зависит. При таких условиях говорить, что подразумеваемая мной честь – а мне кажется, ясно, что никакой иной чести я не мог подразумевать, – будет поддерживать и тем более предписывать неправду, значит, утверждать самую возмутительную нелепость.

– Я умышленно избегал, – отвечал Сквейр, – выводить заключение, которое, мне кажется, с очевидностью следует из моих слов; однако, если вы и уловили его, вы не сделали никакой попытки на него возразить. Впрочем, оставляя в стороне религию, из сказанного вами, я полагаю, ясно, что у нас различные понятия о чести; но почему бы нам не столкнуться относительно определения ее в одних и тех же терминах? Я утверждал, что истинная честь и истинная добродетель – почти синонимы и обе основаны на непреложном законе справедливости и вечной гармонии вещей, а так как неправда совершенно несовместима с ними и противоречит им, то ясно, что истинная честь не может терпеть неправду. В этом, следовательно, мы согласны. Но говорить, что эта честь может основываться на религии, в то время как она ей предшествует, если под религией подразумевать положительный закон...

– Как! Я согласен с человеком, утверждающим, будто честь предшествует религии? – с жаром воскликнул Тваком. – Мистер Олверти, разве я согласился?

Тут мистер Олверти оборвал речь, холодно заметив, что они оба ошибочно его поняли, потому что он ничего не говорил об истинной чести. Впрочем, ему, может быть, нелегко было бы успокоить спорщиков, которые в одинаковой степени разгорячились, если бы разговору не положило конец одно неожиданное происшествие.

Глава IV

закрывающая в себе необходимое оправдание автора и детскую ссору, тоже, может быть, нуждающуюся в оправдании

Прежде чем идти дальше, прошу позволения предотвратить некоторые кривотолки, к которым может привести слишком большое рвение иных читателей, ибо у меня нет ни малейшего желания кого-либо оскорблять, особенно людей, принимающих близко к сердцу интересы добродетели или религии.

Надеюсь поэтому, никто не допустит такого грубого непонимания и искажения моей мысли, чтобы вообразить, будто я стремлюсь подвергнуть осмеянию величайшие совершенства человеческой природы, которые одни только очищают и облагораживают человеческое сердце и возвышают человека над бессмысленными тварями. Смею уверить вас, читатель (и чем благороднее вы, тем охотнее мне поверите), что я скорее предал бы мнения двух упомянутых лиц вечному забвению, чем согласился высказаться неуважительно о таких священных предметах.

Напротив, я решился рассказать о жизни и действиях двух мнимых поборников добродетели и религии именно с той целью, чтобы содействовать прославлению столь высоких предметов. Вероломный друг – самый опасный враг, и я смело скажу, что лицемеры обесславили религию и добродетель больше, чем самые остроумные хулители и безбожники. Больше того: если добродетель и религия, в их чистом виде, справедливо называются скрепами гражданского общества и являются действительно благословеннейшими дарами, то, отравленные и оскверненные обманом, притворством и лицемерием, они сделались его злейшими проклятиями и толкали людей на самые черные преступления по отношению к их ближним.

Я не сомневаюсь, что такое осмеяние, вообще говоря, позволительно; но из уст двух описываемых мной лиц часто исходили самые верные и правильные суждения, и я боюсь главным образом того, как бы все не было свалено в одну кучу и читатель не подумал, будто я осмеиваю все огулом. Пусть он благоволит принять во внимание, что люди они были неглупые, и нельзя предполагать, будто они придерживались одних только ошибочных убеждений и высказывали одни только нелепости. Какое превратное дал бы я о них представление, если бы выбрал одни только дурные их черты! И какими жалкими и уродливыми показались бы все их рассуждения!

Словом, здесь выставлены с дурной стороны не религия или добродетель, а их отсутствие. Если бы при построении своей системы Тваком не пренебрегал до такой степени добродетелью, а Сквейр – религией и если бы оба они не сбросили со счета естественную доброту сердца, они никогда не явились бы предметом насмешки в этой истории, к которой мы теперь и возвращаемся.

Происшествием, положившим конец разговору, изложенному в последней главе, была ссора между молодым Блайфилом и Томом Джонсом, последствием которой явился окровавленный нос первого. Хоть и младший летами, Блайфил был ростом выше своего товарища, однако Том значительно превосходил его в благородном искусстве биться на кулачки.

Том, однако, тщательно избегал каких-либо столкновений с племянником мистера Олверти. Не говоря уже о том, что при всей своей проказливости Томми Джонс был юноша безобидный и искренне любил Блайфила, на него действовал сдерживающе мистер Тваком, всегда бравший сторону последнего.

Но справедливо сказал один писатель: «Нет человека, который был бы мудр каждую минуту»; неудивительно поэтому, если мудрость иногда покидала мальчика. Заспорив о чем-то во время игры, молодой Блайфил назвал Тома нищим убудком. В ответ на это Том, который был нрава горячего, тотчас же украсил его лицо только что упомянутым нами способом.

И вот молодой Блайфил, с текущей из носа кровью и струящимися из глаз вслед за ней слезами, явился на суд дяди и грозного Твакома. В этом трибунале Джонсу тотчас же было предъявлено обвинение в оскорблении действием и ранении. Том в оправдание сослался только на вызывающие слова Блайфила, о которых, впрочем, последний умолчал в своей жалобе. Очень может быть, что это обстоятельство действительно вылетело у него из памяти, потому что в своем ответе он решительно отрицал произнесение им обидных слов, воскликнув:

– Сохрани боже, чтобы из моих уст исходили когда-нибудь такие скверные слова!

Том, в противность всем судебным формальностям, отвечал на возражение повторением брани Блайфила. Тогда последний сказал:

– Неудивительно. Кто раз соврал, тот не посовестится соврать другой раз. Если бы я сказал моему учителю такую гадкую небылицу, как ты, я стыдился бы показаться на глаза людям.

– Какую небылицу, мой мальчик? – нетерпеливо спросил Тваком.

– Да как же, он сказал вам, что с ним никого не было на охоте, когда он застрелил куропатку; а он знает... – тут Блайфил залился слезами. – Да, он знает, сам же мне в этом признался, что с ним был сторож Черный Джордж. И больше того, он сказал, – да, ты сказал, посмей-ка отрицать! – что ни за что не признаешься в этом учителю, хотя бы он тебя на куски изрезал.

При этих словах глаза Твакома засверкали, и он торжествующе воскликнул:

– Ого! Так вот она, ваша ложно понятая честь! Вот какого мальчишку нельзя было выпороть еще раз!

Но мистер Олверти обратился к юноше с более приветливым видом, спросив:

– Это правда, мой мальчик? Как же это ты дошел до такого упорства во лжи?

Джонс отвечал, что он презирает ложь не меньше всякого другого; но он считал, что честь обязывала его поступить так, как он поступил, ибо он обещал бедняге не выдавать его; тем более он чувствовал себя обязанным молчать, продолжал он, что сторож уговаривал его не ходить на чужую землю и пошел туда сам только в угоду ему. Вот вся правда, как было дело, и он готов подтвердить свои слова присягой. И Джонс закончил свою речь горячей просьбой к мистеру Олверти пожалеть семью бедного сторожа, особенно принимая во внимание то, что он, Джонс, один был виноват, а сторож с большой неохотой согласился сделать то, что он сделал.

– Право же, сэр, – говорил он, – едва ли мое показание можно назвать ложью, потому что бедняк совершенно неповинен во всем случившемся. Я все равно пошел бы один за птицами, – я даже и пошел один, и он только последовал за мной, чтобы я не наделал еще большей беды. Пожалуйста, сэр, накажи те меня, отберите у меня лошадку, но прошу вас, сэр, простите бедного Джорджа.

После недолгого колебания мистер Олверти отпустил мальчиков, посоветовав им жить дружнее и миролюбивее.

Глава V

Мнения богослова и философа о своих воспитанниках; несколько оснований для этих мнений и другие предметы

Очень может статься, что, выдав тайну, сообщенную ему весьма конфиденциально, молодой Блайфил избавил своего товарища от хорошей порки, ибо и окровавленного носа было довольно для Твакома, чтобы взяться за розгу; но эту провинность теперь совершенно заслонил другой поступок; а касательно этого поступка мистер Олверти заявил Твакому с глаза на глаз, что, по его мнению, мальчик заслуживает скорее награды, чем наказания, и, таким образом, помилование остановило карающую руку богослова.

Тваком, все помыслы которого были наполнены березовыми прутьями, громко порицал эту снисходительность, решаясь назвать ее слабостью и даже безнравственностью. Оставлять такие преступления безнаказанными, говорил он, значит, поощрять их. Он долго распространялся о пользе наказания детей, приведя много изречений из Соломона и других; так как изречения эти можно найти во множестве книг, то мы не станем их повторять здесь. Потом он обратился к пороку лжи, обнаружив в этом предмете такую же осведомленность, как и в прочих.

Сквейр сказал, что он пробовал согласить поведение Тома с идеей совершенной добродетели, но ему это не удалось. Он признался, что на первый взгляд в поступке Джонса есть нечто похожее на мужественную силу; но так как мужество – добродетель, а лживость – порок, то они ни в коем случае не могут быть примирены или соединены. В заключение он заметил, что так как поступок Джонса является в некоторой мере смешением добродетели и порока, то мистеру Твакому следовало бы подумать, не заслуживает ли его воспитанник по этому случаю суровейшего наказания.

Если оба ученые мужа единодушно осудили Джонса, то с не меньшим единодушием они одобрили молодого Блайфила. Разоблачение истины, по утверждению священника, было долгом каждого религиозного человека, а по заявлению философа – совершенно согласно с законом справедливости и нерушимой вечной гармонией вещей.

Все это, однако, имело очень мало веса в глазах мистера Олверти. Его так и не удалось уговорить подписать приказ об экзекуции над Джонсом. В груди его жило чувство, которому стойкая верность, проявленная юношей, была гораздо ближе, чем религия Твакома или добродетель Сквейра. Поэтому он настрого приказал первому из этих господ воздержаться от расправы над Томом за прошлое. Педагог принужден был повиноваться приказаниям Олверти, хоть и с большой неохотой, ворча, что мальчика положительно портят.

С полевым сторожем сквайр поступил суровее. Он тотчас же призвал беднягу к себе, долго ему выговаривал в резких выражениях, заплатил жалованье и уволил со службы; мистер Олверти справедливо заметил, что солгать для оправдания себя и солгать для оправдания другого – большая разница. Но главной причиной его непреклонной суровости по отношению к этому человеку было то, что ради своей выгоды он проявил низость, допустив, чтобы Тома Джонса подвергли такому тяжелому наказанию, между тем как мог предотвратить его добровольным признанием.

Когда эта история получила огласку, многие оценили поведение юношей в день их ссоры совсем иначе, чем Сквейр и Тваком. Молодого Блайфила в один голос называли подлым доносчиком, мерзавцем, трусом и тому подобными эпитетами, тогда как Том почтен был лестными именами славного малого, веселого парня честной души. Поступок с Черным Джорджем очень расположил к нему всех слуг, правда, полевого сторожа раньше никто не любил, но едва только его прогнали, как все начали жалеть его, все с величайшими похвалами прославляли дружбу и благородство Тома Джонса и совершенно открыто осуждали молодого Блайфила, остерега-

ясь только прогневить его мать. Однако за все это бедный Том платился телесной болью; ибо хоть Твакому и было запрещено пускать в ход свои руки, но, как говорит пословица, «найти сучок в лесу нетрудно». Так точно нетрудно было найти розгу; а только совершенная невозможность найти ее удержала бы Твакома сколько-нибудь продолжительное время от порки бедного Джонса.

Если бы единственным побуждением педагога было чистое наслаждение искусством, то, по всей вероятности, Блайфил тоже получал бы свою долю, но, несмотря на неоднократные приказания мистера Олверти не делать никакого различия между мальчиками, Тваком был столь же любезен и ласков с его племянником, сколько груб и даже жесток с Джонсом. Сказать правду, Блайфил вполне заслужил любовь своего наставника – частью тем, что свидетельствовал ему всегда глубокое уважение, а еще больше скромной почтительностью, с которой он принимал его учение. Блайфил знал наизусть и часто повторял его фразы и отстаивал религиозные убеждения своего учителя с жаром, прямо-таки удивительным в таком молодом человеке и снискавшим большое благоволение к нему достойного наставника.

С другой стороны, Том Джонс был не только нерачителен по части внешних знаков почтения, часто забывая снять шляпу или поклониться при встрече с учителем, но относился также без всякого внимания к его наставлениям и примеру. Это был беззаботный, ветреный юноша с очень вольными манерами и без всякой маски на лице; часто он самым бесстыдным и неприличным образом смеялся над степенностью своего товарища.

По этим же самым причинам и мистер Сквейр отдавал предпочтение Блайфилу, ибо Том Джонс так же неуважительно относился к ученым рассуждениям этого джентльмена, когда тому случалось расточать их пред ним, как и к поучениям Твакома. Однажды он решился подшутить над законом справедливости, а в другой раз сказал, что, по его мнению, ни один закон в мире не способен создать такого человека, как его отец (мистер Олверти позволял ему называть себя этим именем).

Молодой Блайфил, напротив, имел в шестнадцать лет довольно ловкости для того, чтобы одновременно вкрасься в милость обоих этих непохожих друг на друга людей. С одним он был – весь религия, с другим – весь добродетель. А когда они оба были возле него, он хранил глубокое молчание, которое каждый из них истолковывал в его и свою пользу.

Блайфил не довольствовался лестью в глаза обоим этим джентльменам, он пользовался всяким случаем хвалить их Олверти в их отсутствие. Когда он бывал наедине с дядей и дядя одобрял какую-нибудь религиозную или моральную сентенцию (а Блайфил постоянно сыпал ими), он почти всегда приписывал ее добрым наставлениям Твакома и Сквейра. Он знал, что дядя передаст все эти отзывы лицам, для которых они были предназначены, и убедился на опыте в том, какое сильное впечатление они производят как на философа, так и на богослова. И точно: нет лести неотразимее той, что передается из вторых рук.

Кроме того, молодой джентльмен скоро заметил, что все эти панегирики учителям чрезвычайно приятны самому мистеру Олверти, потому что в них слышалась открытая похвала избранному им своеобразному плану воспитания; ибо, заметив, как несовершенны наши публичные школы и сколько пороков приобретают в них мальчики, почтенный сквайр решил воспитывать племянника и найденыша, которого он некоторым образом усыновил, у себя дома, где нравственность их, думал он, избегнет всех опасностей развращения, которым она подвержена в публичных школах или университете.

Решив, таким образом, вверить мальчиков попечению домашнего учителя, мистер Олверти обратился за советом к одному очень близкому приятелю, об уме которого он был высокого мнения и на честность которого вполне полагался, и тот порекомендовал ему на эту должность мистера Твакома. Этот Тваком был членом одного колледжа, где почти и жил, и славился ученостью, набожностью и степенностью. Несомненно, названные качества и имел в виду приятель мистера Олверти, рекомендуя ему Твакома, хотя, впрочем, был многим обязан

семье Твакома, самой видной в том местечке, представителем которого этот джентльмен был в парламенте.

Тваком сразу по приезде чрезвычайно понравился Олверти, действительно, он вполне отвечал данной приятелем Олверти характеристике. Впрочем, после более долгого знакомства и более задушевных бесед почтенный сквайр заметил в наставнике недостатки, которых он не желал бы в нем видеть; но так как с виду его хорошие качества значительно перевешивали их, то мистер Олверти не пожелал с ним расстаться. Да эти недостатки и не давали ему на то права: читатель сильно ошибается, если думает, будто Тваком являлся мистеру Олверти в том же свете, как и ему на страницах этой истории; он заблуждается также, если воображает, будто самые короткие отношения с богословом могли бы открыть ему вещи, которые позволило нам открыть и разоблачить наше писательское вдохновение. О читателях, которые на основании сказанного усомнятся в мудрости или проницательности мистера Олверти, я без стеснения скажу, что они дурно и неблагодарно пользуются сообщаемыми им сведениями.

Эти явные погрешности в системе Твакома уравнивали противоположные погрешности Сквейра, которые наш добрый сквайр тоже видел и осуждал. Но он считал, что противоположные достоинства этих джентльменов будут исправлять их противоположные несовершенства и что мальчики почерпнут от них, особенно с его помощью, достаточно полезных наставлений в истинной религии и добродетели. Если результаты не оправдали его ожиданий, то это, может быть, проистекало от какой-то ошибки в самом плане воспитания, которую мы и предоставляем обнаружить читателю, если он сумеет; ибо мы не задаемся целью выводить в этой истории людей непогрешимых и надеемся, что в ней не найдется ничего такого, чего никогда еще не наблюдалось в человеческой натуре.

Возвратимся, однако, к нашему предмету; мне кажется, читатель не удивится, что различное поведение упомянутых мальчиков производило различное впечатление на воспитателей, примеры чего мы уже видели; но была еще и другая причина различного отношения к ним философа и педагога; так как предмет этот очень важный, мы изложим его в следующей главе.

Глава VI

в которой приводится еще более веское основание для вышеупомянутых мнений

Надо знать, что две названные ученые персоны, играющие в последнее время видную роль на сцене нашей истории, исполнились с самого прибытия в дом мистера Олверти такой великой любовью, один – к его добродетели, а другой – к его благочестию, что задумали вступить с ним в теснейший союз.

С этим намерением они остановили свои взоры на прекрасной вдове, которой, мы надеемся, не забыл еще читатель, хоть мы давно уже о ней не упоминали. Миссис Блайфил была предметом домогательства обоих наставников.

Может показаться странным, что из четырех человек, проживавших в доме Олверти, трое почувствовали влечение к даме, никогда особенно не славившейся красотой и вдобавок теперь уже немного склонившейся под бременем лет; но обыкновенно задушевные друзья и короткие знакомые чувствуют род естественного влечения к женщинам, входящим в число домочадцев друга, как-то: к его бабушке, сестре, дочери, тетке, племяннице или кузине, когда они богаты, и к его жене, сестре, дочери, племяннице, кузине, любовнице или горничной, если они пригожи.

Да не вообразит, однако, читатель, что люди склада Твакома и Сквейра решились на такое предприятие, не вполне одобряемое строгими моралистами, не рассмотрев досконально заранее, противно оно совести или нет. Тваком оправдывал себя рассуждением, что желать сестру ближнего твоего нигде не запрещено, и ему известно было правило, которым руководятся при составлении всех законов, именно: «*Expressum facit cessare taciturn*», смысл которого таков: «Если законодатель ясно излагает всю свою мысль, то мы не вправе приписывать ему то, что нам вздумается». А так как божественный закон, запрещающий нам желать добро нашего ближнего, перечисляет разные виды женщин и сестра среди них не упоминается, то наш богослов заключил отсюда, что его желание вполне законно. А что касается Сквейра, который был что называется красавец мужчина и вдовый угодник, то он легко примирил свой выбор с вечной гармонией вещей.

И вот наши джентльмены, не пропускавшие ни одного случая снискать расположение вдовы, сообразили, что вернейшим средством для этого будет отдавать предпочтение ее сыну перед Джонсом; и так как им казалось, что доброта и любовь мистера Олверти к приемышу должны быть крайне неприятны вдове, то они и не сомневались, что, унижая и понося Джонса при всяком удобном случае, они доставят ей большое удовольствие: она ненавидела мальчика, следовательно, должна была любить всех притеснявших его. В этом отношении Тваком имел преимущество, ибо Сквейр мог вредить только добродетели бедного юноши, а он – его коже; и действительно, он рассматривал каждый нанесенный тому удар как знак внимания к своей возлюбленной, так что с полным правом мог бы применить к себе старое наставительное изречение: «*Castigo te non quod odio habeam, sed quod amem*» – «Наказываю тебя не из ненависти, а из любви». И действительно, оно часто бывало у него на устах или, вернее – по одному старинному выражению, как нельзя более подходящему к случаю, – на кончиках его пальцев.

Преимущественно по этой причине оба джентльмена были, как мы видели, согласны в своем мнении насчет порученных им воспитанников. И это был едва ли не единственный случай их единогласия, ибо, помимо коренного различия их образа мысли, оба они давно уже сильно подозревали друг друга в желании покорить сердце вдовы и ненавидели друг друга жесточайшей ненавистью.

Эта взаимная враждебность еще более распалялась их попеременными успехами, ибо миссис Блайфил смекнула, в чем дело, гораздо раньше, чем они воображали или имели в виду

показать ей: соперники действовали с большой осторожностью, боясь, как бы она не обиделась и не пожаловалась мистеру Олверти. Но для таких опасений не было никаких поводов: вдова была довольна страстью, плоды которой намеревалась пожать она одна, а единственными плодами, на которые она рассчитывала, были лесть и поклонение, – по этой причине она поощряла каждого из них поочередно и долгое время в равной степени. Она больше склонялась предпочесть убеждения богослова, но наружность Сквейра больше радовала ее взоры, ибо философ был мужчина благообразный, тогда как педагог очень напоминал джентльмена, наказывающего дам в исправительном доме на гравюре из серии «Путь прелестницы».

Была ли миссис Блайфил пресыщена сладостью супружеской жизни, почувствовала ли отвращение к ее горечи, или происходило это от иной причины – я не берусь решить, – только она и слышать не хотела о новом предложении. Впрочем, под конец у нее установились такие короткие отношения со Сквейром, что злые языки начали шептать о ней вещи, которым вследствие нежелания порочить честь дамы, а также потому, что они совершенно несовместимы с законом справедливости и всеобщей гармонией, мы не будем придавать значения и не станем марать ими бумагу. Педагог же, как усердно ни подхлестывал, ни на шаг не приближался к цели своего путешествия.

Надо сказать, что он сделал большую ошибку, и Сквейр заметил это гораздо раньше его. Миссис Блайфил (как, может быть, уже догадался читатель) не была в чрезмерном восторге от обращения мужа; говоря откровенно, она ненавидела его всей душой, пока наконец смерть немного не примирила ее с ним. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она не питала особенно бурной нежности к его детищу. Действительно, этой нежности было у нее так мало, что, когда ее сын был ребенком, она видела его редко и обращала на него мало внимания; без больших усилий примирилась она со всеми милостями, расточаемыми найденышу мистером Олверти, который называл его своим сыном и во всем держал наравне с маленьким Блайфиллом. Это молчаливое согласие было истолковано соседями и домочадцами как уступка братниной прихоти, но все, не исключая Твакома и Сквейра, были убеждены, что в душе она ненавидит приемыша; и чем ласковее обращалась она с ним, тем больше они были уверены, что она озлоблена против Джонса и замышляет для него верную гибель; ей трудно было бы переубедить людей, считавших, что в ее интересах ненавидеть мальчика.

Тваком еще более укрепился в своем мнении оттого, что она не раз коварно подавала ему мысль высечь Тома Джонса, когда мистера Олверти, враждебно относившегося к таким экзекуциям, не было дома; между тем она никогда не отдавала подобных приказаний относительно Блайфила. Это обстоятельство обратило на себя внимание также Сквейра. Словом, хотя миссис Блайфил заведомо ненавидела своего родного сына, – и, как это ни чудовищно, я уверен, что она в этом отношении далеко не исключение, – она, по-видимому, вопреки всей своей наружной угодливости, втайне сильно досадовала на благоволение мистера Олверти к приемышу. Часто она в резких выражениях жаловалась на брата, за его спиной, и Твакому и Сквейру и даже порой бросала упрек в глаза самому Олверти, когда между ними завязывались небольшие ссоры, или, вульгарно выражаясь, перебранки.

Однако, когда Том вырос и стал отличаться удалью, так выгодно рисующей мужчину в глазах женщин, расположение, которое она обнаруживала к нему во время его детства, постепенно ослабело, и наконец она стала оказывать ему столь явное предпочтение перед родным сыном, что уже невозможно было ошибиться на этот счет. Она так желала видеть Джонса и испытывала такое живое удовольствие в его обществе, что, не достигнув еще восемнадцати лет, Том сделался соперником и Сквейра и Твакома; и, что еще хуже, весь околоток начал поговаривать о ее благосклонности к Тому так же громко, как раньше говорили о ее благосклонности к Сквейру; по этой причине философ воспылал жесточайшей ненавистью к нашему бедному герою.

Глава VII

в которой на сцену является сам автор

Хотя сам мистер Олверти не торопился видеть вещи в неблагоприятном свете и оставался чужд голосу молвы, который редко достигает слуха брата или мужа, несмотря на то что раздается в ушах всех соседей, все же благосклонность миссис Блайфил к Тому и предпочтение, слишком явно отдаваемое ему перед сыном, принесли много вреда нашему герою.

Мистер Олверти был преисполнен такой отзывчивости, что лишь требования справедливости могли бы подавить в нем это чувство. Какого угодно несчастья, лишь бы только его не перевешивали дурные качества, было достаточно для того, чтобы пробудить в сердце этого доброго человека жалость и снискать его дружбу и благоволение.

Вот почему, убедившись с несомненностью, что маленький Блайфил находится в полной немилости у матери (а так оно и было в действительности), он начал смотреть на него с состраданием; а каково действие сострадания на умы добрые и благожелательные – этого, я думаю, мне нет надобности объяснять читателям.

С этих пор мистер Олверти видел малейшее проявление добродетели в юноше в увеличительное стекло, а все его недостатки – в уменьшительное, так что они сделались едва заметными. Эту снисходительность жалости можно считать даже похвальной; но следующий шаг способна извинить только слабость человеческой природы. Едва только мистер Олверти заметил, что сестра его оказывает Тому предпочтение, как благосклонность его к бедному, ни в чем не повинному юноше стала убывать по мере возрастания к нему привязанности вдовы. Правда, одна эта привязанность не могла бы вырвать Джонса из сердца сквайра, но она сильно ему повредила и подготовила мистера Олверти к тем впечатлениям, которые сделались впоследствии причиной важных событий, излагаемых на дальнейших страницах этой повести и которые, нужно сказать откровенно, усилил сам неудачливый юноша своей взбалмошностью, опрометчивостью и неосторожностью.

Несколько примеров в подтверждение этого послужат, если будут правильно поняты, полезным уроком благонамеренным юношам, которым случится впоследствии быть нашими читателями; они увидят, что доброта сердца и откровенный характер, хотя бы они давали большое душевное наслаждение и наполняли умы благородной гордостью, ни в коем случае – увы! – не ведут к преуспеянию в свете. Благоразумие и осмотрительность необходимы даже наилучшему из людей. Они являются как бы стражами Добродетели, без которых она всегда в опасности. Недостаточно, чтобы намерения ваши и даже ваши поступки были сами по себе благородны, – нужно еще позаботиться, чтобы они и казались такими. Как бы ни была прекрасна ваша внутренняя сущность, вы всегда должны сохранять приличную внешность. Необходимо постоянно следить за ней, иначе злоба и зависть постараются так вас очернить, что пронизательность и доброта таких людей, как Олверти, неспособны будут проникнуть сквозь толщу клеветы и разглядеть внутреннюю красоту. Юные мои читатели, помните твердо, что самый лучший человек не вправе пренебрегать правилами благоразумия, и сама Добродетель не покажется приглядной без внешних украшений приличия и благопристойности. И я надеюсь, достойные ученики мои, если вы будете читать с должным вниманием, то найдете на дальнейших страницах достаточно примеров, подтверждающих эту истину.

Простите, что я сам выступаю на сцену в роли хора. Этого требует забота о моем добром имени; указывая на рифы, о которые часто разбиваются невинность и доброта, я хочу, чтобы меня не истолковали превратно и не подумали, что я даю моим уважаемым читателям советы, для них заведомо гибельные. А так как мне не удалось убедить никого из действующих лиц моей повести высказать это, то я принужден был заговорить сам.

Глава VIII

Детская выходка, показывающая, однако, природную доброту Тома Джонса

Читатель помнит, как мистер Олверти подарил Тому Джонсу лошадку, словно желая вознаградить мальчика за невинно понесенное, по его мнению, наказание.

Этой лошадкой Том пользовался около полугода, затем поехал на ней на ярмарку в соседнее местечко и продал ее.

По возвращении домой на вопрос Твакома, что он сделал с деньгами, вырученными за лошадь, он откровенно заявил, что не скажет.

– Вот как! – воскликнул Тваком. – Ты не скажешь! Так я выведу это у твоего зада.

К этому месту он всегда обращался за сведениями в сомнительных случаях.

Том был уже посажен на спину лакея, и все было приготовлено для экзекуции, когда в комнату вошел Олверти, отменил приговор и увел с собой преступника. Оставшись с Томом наедине, он задал мальчику вопрос, предложенный ранее Твакомом.

Том отвечал, что он не вправе отказать ему ни в одной просьбе, но что касается этого мерзавца с деспотическими замашками, то он ответит ему только дубинкой, которой надеется вскоре отплатить за все его жестокости.

Мистер Олверти сделал ему суровый выговор за непристойные и непочтительные выражения по адресу своего воспитателя, особенно же за беззастенчиво высказанное намерение отомстить ему. Он пригрозил, что лишит его всех своих милостей, если еще раз услышит от него такие слова, ибо, заявил Олверти, он ни за что не станет оказывать поддержки или помощи закоренелому преступнику. При помощи таких увещаний и угроз он добился от Тома раскаяния, но не слишком чистосердечного, потому что юноша действительно подумывал о воздаянии за все жгучие ласки, полученные им от руки педагога. Однако под влиянием убеждений мистера Олверти Том выразил сожаление по поводу своей резкой выходки против Твакома, после чего, сделав еще несколько полезных наставлений, Олверти позволил ему продолжать, и Том сказал следующее:

– Я люблю и уважаю вас, сэра, больше всех на свете, знаю, как много обязан вам, и глубоко презирал бы себя, если бы считал себя способным на неблагодарность. Жаль, что подаренная вами лошадка не умеет говорить, а то она рассказала бы вам, как я дорожил вашим подарком; мне приятнее было кормить ее, чем кататься на ней. Право, сэра, мне тяжело было с ней расстаться, и я не продал бы ее ни за что на свете по какому-нибудь другому случаю. Я уверен, сэра, что на моем месте вы сами поступили бы точно так же, ибо нет человека, более отзывчивого к чужим несчастьям. Но каково бы вы себя чувствовали, дорогой благодетель, если бы считали себя их виновником? А такой нищеты, как у них, право же, никогда не было.

– Как у кого, друг мой? – спросил Олверти. – О ком ты говоришь?

– Ах, сэра! – отвечал Том. – Ваш несчастный полевой сторож погибает со всей своей семьей от голода и холода с тех пор, как вы его прогнали. Для меня было невыносимо видеть этих бедняг, раздетых, без куска хлеба, и сознавать, что я же являюсь причиной всех их страданий. Я не мог этого вынести, сэра, – клянусь вам, не мог! – Тут слезы заструились у него по щекам, и он продолжал так: – Чтобы спасти этих людей от совершенной гибели, я решился расстаться с вашим подарком, как он мне ни дорог; ради них я продал лошадь и отдал им все деньги до последнего гроша.

Несколько минут мистер Олверти не произносил ни слова, и слезы текли у него из глаз. Наконец он отпустил Тома с мягким упреком, сказав ему, чтобы на будущее время он лучше обращался к нему в случаях подобной нужды, а не прибегал к таким необыкновенным средствам помощи.

Происшествие это послужило поводом к большому спору между Твакомом и Сквейром. Тваком утверждал, что это просто вызов мистеру Олверти, который хотел наказать сторожа за неповиновение. Он говорил, пояснив свою мысль несколькими примерами, что так называемое милосердие кажется ему противным воле всемогущего, обрекающего некоторых людей на гибель, и что поступок Джонса в равной мере идет вразрез с желаниями мистера Олверти; по обыкновению, он заключил свою речь горячей похвалой березовым прутьям.

Сквейр энергично отстаивал противное – может быть, из желания возражать Твакому, а может быть, с целью угодить мистеру Олверти, по-видимому, вполне одобрявшему поступок Джонса.

Однако приводить здесь доводы философа было бы неуместно, так как я убежден, что большинство моих читателей сумеет гораздо искуснее защитить Джонса. Действительно, нетрудно было примирить с законом справедливости поступок, который никак нельзя было вывести из закона несправедливости.

Глава IX

закрывающая выходку гораздо худшего свойства, с комментариями Твакома и Сквейра

Одним мудрым человеком, до которого мне далеко, было замечено, что беда редко приходит в одиночку. Примером этой истины могут, мне кажется, служить те господа, которые имели несчастье попасться в каком-нибудь грязном деле: подобное открытие редко остается одиноким и обыкновенно приводит к полному разоблачению человека. Так случилось и с бедным Томом: только что ему простили продажу лошади, как обнаружилось, что незадолго перед тем он продал другой подарок мистера Олверти – изящную Библию, а вырученные деньги употребил по тому же назначению. Библию приобрел маленький Блайфил, хотя у него уже был другой точно такой же экземпляр; сделал он это отчасти из уважения к книге, а отчасти из дружбы к Тому, не желая, чтобы книга за половинную цену перешла в чужие руки. Поэтому он заплатил означенную половинную цену сам, ибо он был юноша благоразумный и бережно обращался с деньгами, откладывая почти каждый пенс, полученный от мистера Олверти.

Говорят, есть люди, которые могут читать только принадлежащие им книги. Напротив, Блайфил, приобретя Библию Джонса, к другой больше не обращался. Больше того: он проводил за чтением этой Библии гораздо больше времени, чем раньше за чтением своей. А так как он часто просил Твакома объяснить ему трудные места, то педагог, к несчастью, обратил внимание на имя Тома, написанное во многих местах книги. Последовал допрос – и Блайфил принужден был во всем признаться.

Тваком решил не оставлять безнаказанным это преступление, которое он называл святотатством. Поэтому он немедленно приступил к порке; не удовольствовавшись ею, он при первом же свидании рассказал мистеру Олверти о чудовищном, по его мнению, проступке Тома, ругая приемыша самыми последними словами и уподобляя его торговцам, изгнанным из храма.

Сквейр посмотрел на дело с совсем иной точки зрения. Он говорил, что не видит, почему продать одну книгу большее преступление, чем продать другую; что продавать Библию не запрещено никаким законом, ни божеским, ни человеческим, и потому вполне позволительно. Великое негодование Твакома, сказал он, приводит ему на память случай с одной набожной женщиной, которая единственно из благочестия украла у своей знакомой проповеди Тиллотсона³⁶

³⁶ *Проповеди Тиллотсона.* – Тиллотсон Джон (1630–1694) – проповедник-рационалист. (Примеч. пер.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.